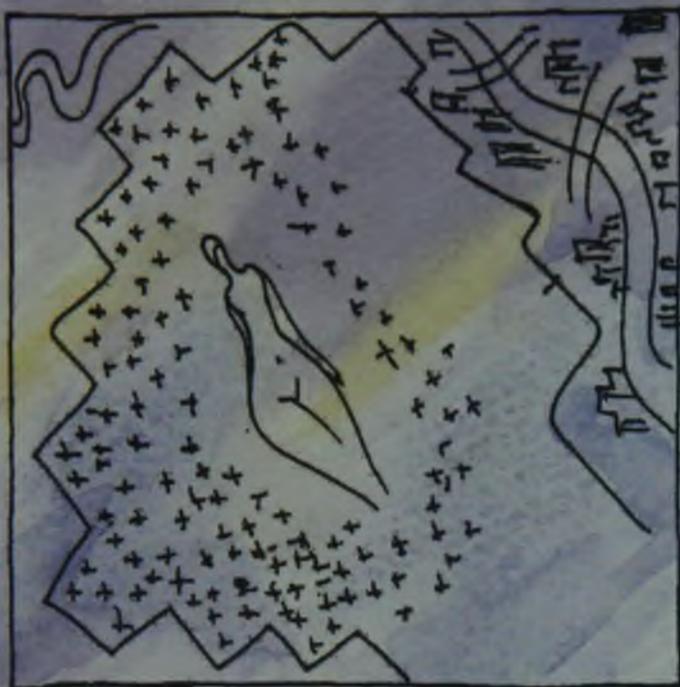


К 84 (2Рвс=Хат)  
А 37



**Еремей АЙПИН**

**РЕКА -**

**В-ЯНВАРЕ**

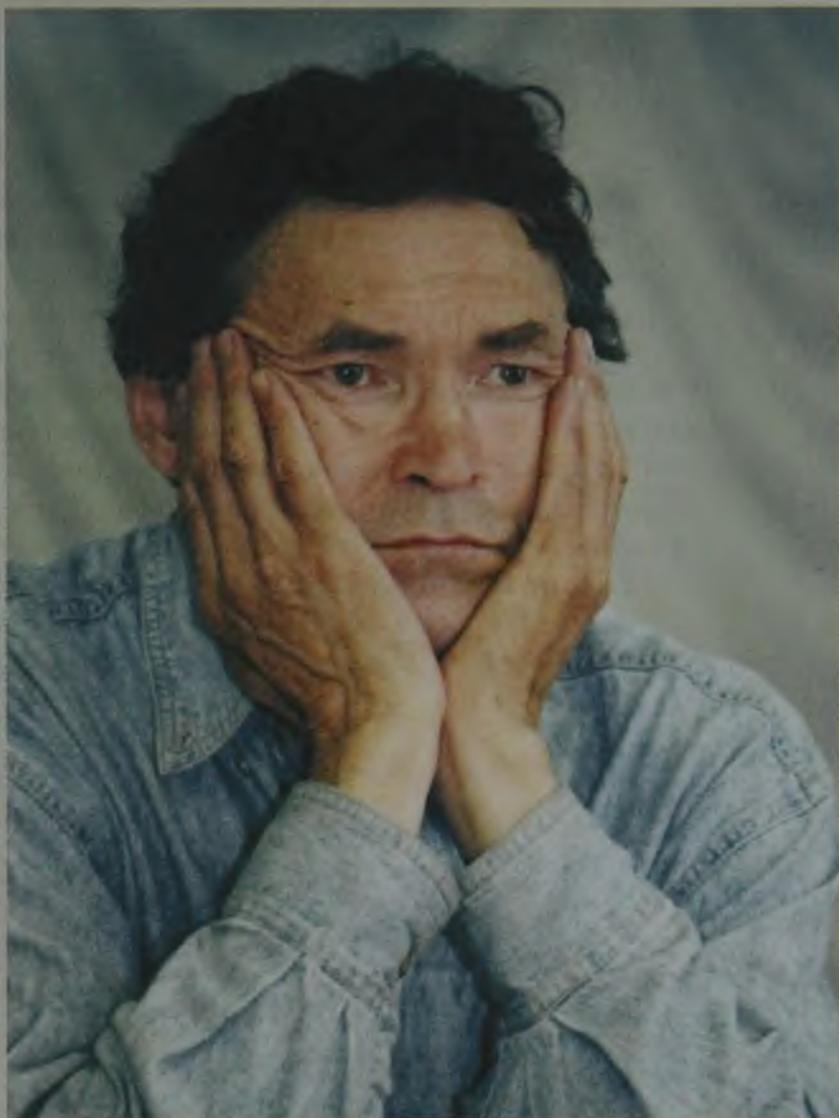






*Я вслушиваюсь в чарующие звуки твоего  
голоса и впитываю твое тепло. И понимаю, что  
такое мгновенье уже не повторится никогда.  
Это в последний раз. Но мне достаточно и этого.  
Вместе со мной подходила к концу, заканчивалась,  
обрывалась жизнь вселенская. Вне моей жизни,  
как и у каждого человека, ничего не существует —  
ни солнца, ни луны, ни земли, ни Вселенной, ни Тебя.  
Ничего. И теперь наступил миг, когда я готов  
расстаться со всем этим ради Тебя. Ибо я уходил  
в небытие вместе с Тобой. Вместе с Твоим теплом.  
Вместе с Твоим голосом. Ведь сейчас мы слились  
воедино. Мы неразделимы...*

Из рассказа «Осень в Твоем городе»



*Еремей Данилович Айтин*

*Родился в селе Варьеган Сургутского (ныне Нижневартовского) района Ханты-Мансийского автономного округа в 1948 году в семье охотника. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая книга «В ожидании первого снега» вышла в свет в 1979 году. Автор известных и популярных рассказов, очерков и романов. Писатель получил признание не только в России, но и за рубежом. Его книги вышли в переводах на иностранные языки в Венгрии, США, Италии, Финляндии, Франции, Германии.*

*В настоящее время является заместителем председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, председателем Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера. Живет в Ханты-Мансийске.*

# РЕКА-В-ЯНВАРЕ

*Сборник рассказов*

- 0103555-3

Санкт-Петербург  
ООО «МИРАЛД»  
2007

Государственная  
библиотека  
Югры

КО

Государственная  
библиотека  
Югры

ОЭ

УДК 82-32  
ББК 84(2Рос-Рус)  
А34

**Айпин Еремей**

А34 Река-в-Январе. Сборник рассказов / Еремей Айпин ;  
Вступ. ст. А.-В. Шаррен ; Худож. Г. С. Райшев.—СПб. :  
ООО «МИРАЛЛ», 2007.—208 с. : ил.

ISBN 978-5-902499-39-8

Рассказы, входящие в книгу, представляют собой интимные поэтические баллады, сонеты в прозе о непостижимой любви, о смелых чувствах, о счастье, о сбывшейся мечте и о случившемся горе, испепеляющем душу.

УДК 82-32  
ББК 84(2Рос-Рус)

Издание выпущено по заказу  
Департамента информационной политики  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ISBN 978-5-902499-39-8

© Айпин Е. Д., 2007  
© Райшев Г. С., иллюстрации, 2007  
© ООО «МИРАЛЛ», 2007

## Багатель о неслучившемся

Эмиль Чоран, франко-румынский философ и эссеист, произнес однажды весьма загадочную фразу: «Меланхолия—это грусть без причины». Любой пассивный соучастник жизненного процесса, обыкновенный зритель спектакля человеческих страстей, вероятно, немедленно согласится с этим. Но тот, кто в жизни выбрал дорогу творчества, трудную стезю писательской самореализации, точно знает, что меланхолия—это грусть по несбывшемуся, по несостоявшемуся.

Человек в силу обстоятельств земной реальности не позволяет себе уйти в другой мир. Мир, где он подвергается испытанию счастьем, где боль и радость близости к *единственному* делают человека способным к самоотречению и самопожертвованию, где осуществление невысказанных дум и стремлений не являются недостижимым идеалом.

Настоящий писатель никогда не бежит прочь от этой меланхолии, не скрывается от бессознательного чувства тревоги перед иной действительностью—силой своей беспредельной артистической воли он *осуществляет* эту реальность, сопротивляющуюся своему рождению, превращает тени в свет, убеждает разуверившегося читателя в том, что он, писатель, *там был*, что все, о чем он пишет, является последней жизненной правдой...

Такова изначальная, но не окончательная реальность сборника рассказов Еремея Айпина—этих интимных поэтических баллад, сонетов в прозе о непостижимой любви мужчины и женщины, о смелых чувствах Его к Ней, Ее к Нему, о счастье сбывшейся мечты, сжимающем горло, и о случившемся горе, испепеляющем душу. Небольшие по форме, но переполненные тайными откровениями и огнем эмоций, рассказы Айпина представляются незванными гостями, беспощадно врываются в чужие, арестованные судьбой души читателей, напоминая им о том, что важное, ценное не свершилось, не получилось, не произошло, возможности утеряны и окончательный ответ на самый главный вопрос жизни не найден.

Каждый, отдельно взятый, персонаж рассказов Айпина не в замкнутом кругу слепого эгоизма. Он постоянно обращается к читателю целостностью своих переживаний, вызывая одинокие, но отчетливые звуки струн в глубоко сокрытом бытии нашего сознания. Литературные герои Айпина настоятельно приглашают нас выйти на невидимую сцену человеческих страстей и смело принять на себя новую, еще не сыгранную роль с целью испытать читателя в адекватности

его собственного чувственного багажа, его собственной механики жизненного выбора.

Однако за реальностью этих рассказов скрывается еще один, более глубокий контекст, еще более недоступная правда. Открыть эту реальность во всей ее многосложности и логике можно только посредством очень интенсивного, психологически строго направленного размышления о самом авторе и о его творческой судьбе.

Еремей Айпин прожил, посвятив всю свою жизнь, мирскую и творческую, своему народу, его трагической истории, его спасению от забвения. Главные книги автора — результат огромных усилий одного человека, цель которого — выволить память о хантах из мутных вод и окровавленных руин истории. Выступая не столько против режима, сколько против все и вся утопляющего течения современности, Айпин сумел вернуть эту память народу — его мифы, язык, историю, забытых и убитых детей — и таким образом реализовал его возрождение. Своей литературой, своим творчеством он возродил право хантов на существование *сегодня* и обеспечил их присутствие в грядущем *завтра*. Он прошел этот долгий и трудный путь, вооружившись самыми мощными и действенными инструментами спасителя — самозабвением, волей и Словом.

Айпин добился своего, и в просветленных лицах своих соплеменников он увидел почтение, признание и благодарность. Однако, почти превратившись при жизни в бронзовую статую народного творца, о котором вспоминают и которому несут цветы только в праздничные дни, писатель оказался узником своей собственной славы. Он перестал быть *живым*, реальным человеком. И чтобы прорвать эту цепь, Айпин вновь совершил смелый шаг в *жизнь*, чтобы *ожить* среди живых.

Такова сила, талант и невысказанная история этого автора. Его путь удивительным образом совпадает с творческой судьбой великого немецкого композитора Людвиг ван Бетховена, который, достигнув запредельных высот в своем творчестве, написал несколько очень личных и интимных опусов, названных им багателями.

Вернувшись в лоно жизни, Айпин также создал талантливые, тонкие, многому нас обучающие багатели. Это рассказы о *неслучившемся*. Еремей Айпин оказался не только незаменимым писателем своего народа, но также тонким и изысканным врачевателем растерянных по жизни душ людей.

Анн-Виктуар Шарпен  
Париж, 2007 год

# ПРОЛОГ

Он любил —  
И был любим





# ОСЕНЬ В ТВОЕМ ГОРОДЕ

*Осенняя грусть*



---

М. П.

Ты помнишь ли ту Осень?

Я приехал к Тебе.

Падал снег. Снег падал огромными хлопьями, закрывавшими все небо.

Помнишь ли тот Снег?

И мы пошли на реку. Точнее, на набережную Твоей реки.

У реки, где с моря налетал резкий ветер, хлопья снега как бы взрывались и бешено неслись неведомо куда.

На реке стояли на якорях корабли с грозно торчащими стволами пушек. Над ними — низкое тяжелое небо, а под ними — свинцово-ледяная вода. И корабли тоже отливали свинцом.

Был праздник.

И на кораблях была праздничная суета. Матросы в черных бушлатах, подобно муравьям, сновали по палубам. Мы тогда гордились этими кораблями. Вот какие мы сильные! Вот какие могучие! Вот какие мы великие!.. В то время я еще не понимал, что любой подобный корабль — это смерть. Это погибель всем нам или живущим на других континентах.

Мы шли в снегу.

Мы шли в снегу под ударами ветра в спину. Я шел со стороны реки, как бы прикрывая Тебя от ледяного холода воды. Мы шли медленно, не спеша. Я шел и молчал. Я молча слушал Тебя. Слушал Твой изумительный голос. Ты сказывала мне сагу о своем городе. Сказывала

с любовью. С любовью к своему городу, где на каждом шагу возникало чудо.

Я слушал. Слушал ревниво. Я ревновал Тебя к Твоему городу. И, ревнуя, наслаждался Твоим изумительным голосом. Изумительным голосом, чистым и нежным. Я слушал как сказку, как песню, как симфонию. Я улавливал в очаровывающей музыке Твоих слов и вздохи ласкового моря, и шелест осенних листьев в прибрежном лесу, и серебряный звон таежного родника. Твой голос завораживал меня, усыплял, волшебным переносил в совершенно другой мир, в другое измерение. Кажется, помню все, что Ты мне говорила. Но неожиданно и ненадолго я куда-то исчезал. Проваливался невесть куда. Вернее всего, попадал в неземное пространство.

Если в прозрачно-ясный и тихий вечер в укромном лесном закоулке, пред разгорающейся вечерней зарей, очень осторожно и нежно задеть отливающий живым оранжевым огнем Небесный Купол, возможно, он издал бы что-то подобное Твоему голосу... Не знаю, говорил ли Тебе кто про Твой необыкновенный голос. Не знаю, ведаешь ли, каким волшебством Ты обладаешь?! Не знаю. Я же про это Тебе ничего не сказал...

Я был счастлив. И казалось мне, этим ощущением счастья было заполнено все вокруг нас. И падающие снега, и холодные воды. И черное железо мостов, и тусклый гранит набережных, и строгая бронза памятников, и ягельно-зеленоватая медь церквей и храмов, и буропесчаные стены домов. И сумрачное небо, и мокрая земля. Да, я был счастлив. Но я сразу уловил необыкновенную хрупкость этого мгновения счастья. Все было неустойчивым и зыбким, как наступающий осенний день. День короткий, призрачный, почти неуловимый. Ведь Ты и сама была легка и хрупка, как падающая с неба снежинка. А снежинка неслышно садилась на руку — и в следующий миг стекала на землю родниковой капелькой воды. А возможно ли было сохранить снежинку на многие-многие лета и зимы?! Навсегда?! Навечно?!

По набережной сновала не очень веселая, принудительно-добровольно выведенная на улицы, прозрачная толпа. Она казалась серо-темной на фоне падающего снега.

С набережной, свернув вправо, мы вышли на знаменитую Главную площадь Твоего города. Шли медленно, не спеша. Ты говорила, как сказку сказывала, как песню напевала. А я слушал и смотрел. Конечно же, больше смотрел на Тебя, нежели на достопримечательности города. Вернее, всматривался в Твои глаза. Ты все показывала глазами. И я спешил за Твоим взглядом, очерчивавшим пространство вокруг нас. И этим пространством был весь мир, в котором нас было только двое.

Ты и я.

И больше никого.

И это была жизнь наедине с Тобой.

И я наслаждался этой жизнью и этим миром. Хотя иногда мне казалось, что Ты идешь не рядом со мной, а витаешь высоко-высоко в небесах, в мире грез и мечтаний. Ты не просто шла по жизни—Ты совершенствовала мир. Ты вся светила. Ты горела. Ты одухотворяла мир, человека и все сущее во Вселенной. Я знал, что Ты не подозревала, что сама была обворожительным совершенством мира. И все, к чему Ты прикасалась, становилось лучше, прекраснее...

Потом мы повернули под арку и прошли на Главную улицу Твоего города, тоже знаменитую. Впрочем, тут все, к чему ни прикоснешься, чем-нибудь да памятно. Хотя каждый город по-своему примечателен. Но это Твой город!.. Город, как и Ты, не был похож ни на какой другой...

Мы перешли Главную улицу напротив кинотеатра.

Помнишь ли, как назывался тот кинотеатр? Я помню. Но мне не хочется, чтобы кто-то узнал Твой город. Он принадлежит только Тебе—и никому больше. И кинотеатр тоже принадлежит только Тебе и мне.

Город был наполнен Твоим дыханием.

Город дышал Тобой.

На улице пронизывающий ветер с моря бил в наши спины. Падающий снег сразу же превращался в мокрую слякоть под ногами. Прохожие, съжившись, спешили по своим делам. Зябко, сыро. Но мне рядом с Тобой было тепло. Никто еще в этом мире не излучал такое тепло. Ровное, всепроникающее тепло. Оно согревало меня, стены домов, деревья, камень ближайших дворцов и храмов. Казалось, всю землю и небо. Я не чувствовал ни холода, ни ветра, ни слякоти. Но в фойе кинотеатра мы выпили кофе. Кофе был не очень горячим, но приятным.

В зале я сидел слева от Тебя и слушал Твое сердце. Его биение отзывалось во льдах и снегах моего Севера, и я улавливал эти милые отзвуки... Я чувствовал только Тебя. Ничего не скажу о Твоих глазах, о Твоих волосах, о Твоих губах, ибо до сих пор, до самого последнего мгновенья, никому не хочу отдавать Тебя. Не помню, как назывался фильм. Наверное, ни разу не глянул на экран. Не помню ни одного кадра. Но я помню Твое тепло. Ты излучала тепло, и я улавливал это тепло, начиная с колена. И чем выше, тем теплее, тем горячее Ты становилась, постепенно превращаясь в испепеляющий огонь. И я горел в этом сладостном огне... Ты согревала Вселенную. Всю. Ты согревала и дом моего отца на далеком Севере, и наш сосновый белоягельный бор, и наши озера, и нашу реку, и нашу Богиню...

Я вздрогнул от неожиданности. Нашу богиню!.. Может быть, Ты сама Богиня?! Возможно ли такое?!

Я горел в Твоем огне...

И эта огненная строчка все вписала в мою память.

Помню Твои слова.

Помню Твои глаза.

Помню Твои волосы.

Помню Твои губы.

Я помню...

Словом, все я помню...

Тогда, в кино, справа от Тебя сидела Твоя подруга, тихая и красивая блондинка. Сначала я огорчился — зачем Ты пригласила ее с нами в кино? Но она оказалась де-

вушкой деликатной, и я не чувствовал ее присутствия. При ней мы были вдвоем. Точнее, для меня была только Ты. Одна. Единственная. Незабвенная, никому не принадлежащая...

Я тихонько горел...

Я был счастлив.

Потом, уже в сумерках осеннего дня, мы вышли из кино. По-прежнему шел снег, дул ветер и праздничные прохожие, радующиеся нерабочему дню, неистово месили уличную слякоть.

Загустели сумерки.

Загустели сумерки короткого осеннего дня Твоего города.

Я был невыразимо счастлив. И думал, что буду вечно счастливым рядом с Тобой. Хотя и предчувствовал, что слишком большое и неожиданное счастье не может быть вечным и непоколебимым. Наоборот, оно очень хрупкое и ранимое.

Наступил вечер.

Спустились сумерки.

И мы поехали к Тебе. И я все еще был переполнен счастьем. Мне было хорошо. И Тебе было хорошо. Нам было хорошо. И казалось, нам всегда будет хорошо...

Странно, почему в тот наивысший миг счастья я не сторел?! Почему я не превратился в пепел?!

...А потом мы расстались. Думали — ненадолго.

Оказалось — навсегда.

Расстались навсегда.

Расстались.

Разъехались.

Потом я приехал в Твой город. И уже один бродил по нашим следам. Вернее, по Твоим следам. Набережная реки, Главная площадь, арка, короткий проезд, Главная улица, кинотеатр, Твоя улица, Твой дом. Я бродил как бы в сомнамбулическом сне. Никого и ничего не воспринимал.

Видел только горящие тихим огнем Твои следы. Слышал только Твой чудный голос. Вспоминал только Твои слова. Улавливал запах только Твоих волос. Удивительно четко отпечатались на камне мостовых Твои следы. Я находил и всматривался в них необъяснимым внутренним зрением. Порою наплывали искаженные пушкинские строки:

...ходила маленькая ножка,  
вился локон золотой...

Хотя у Пушкина все это, кажется, было в настоящем времени.

Я снова в Твоем городе.  
Город без Тебя опустел.  
Город без Тебя осиротел.  
Город без Тебя помертвел.

Вот и кинотеатр. В кино я безошибочно нашел место, где Ты сидела в тот счастливый осенний день. Замерев, я долго стоял над Твоим креслом. Стоял, ждал, когда Ты явишься ко мне. Я был уверен, что Ты придешь. Я все ждал и ждал Тебя. Наконец тихо и осторожно опустился в кресло. Осмотрелся, возможно, вздохнул незаметно для себя. Руки сами собой крест-накрест обхватили мои плечи, голова упала на грудь, глаза зажмурились, и все тело мое произвольно, до хруста в костях, сжалось в один единый бесформенный ком. Весь я оцепенел и впал в забытье, будто провалился куда-то. А время как бы остановилось.

Сколько это длилось — не знаю. Но потом я очнулся. В изнеможении. Голова с трудом откинулась назад. Я закрыл глаза. И стал поджидать Тебя. Ждал, ждал. И наконец почувствовал Твое тепло. Как и в ту осень, в тот день, тепло от колена стало подниматься вверх. И чем выше, тем теплее, тем жарче, тем горячее. Сейчас Ты была рядом со мной. Я вернулся в прошлое. Или Ты пришла ко мне из ушедшего времени. Впрочем, это неважно. Главное, Ты была сейчас рядом со мной. И я ощущаю Твое тепло. Ты рядом, рядом со мной. И мне больше ничего

не нужно. Я слышу, как и тогда, Твой голос. Я вслушиваюсь в чарующие звуки твоего голоса и впитываю твое тепло. И понимаю, что такое мгновение уже не повторится никогда. Это в последний раз. Но мне достаточно и этого. Вместе со мной подходила к концу, заканчивалась, обрывалась жизнь вселенская. Вне моей жизни, как и у каждого человека, ничего не существует — ни солнца, ни луны, ни земли, ни Вселенной, ни Тебя. Ничего. И теперь наступил миг, когда я готов расстаться со всем этим ради Тебя. Ибо я уходил в небытие вместе с Тобой. Вместе с Твоим теплом. Вместе с Твоим голосом. Ведь сейчас мы слились воедино. Мы неразделимы... Я готов к уходу. Я вдохнул воздух, потом выдохнул. И стал замедлять дыхание. И, почти не дыша, медленно, не спеша, убавил бег сердца, чтобы потом, постепенно, как это мог делать мой прадед-шаман, остановить его и тихо, без суеты, уйти навсегда в небытие. И я стал терять ощущение реального мира, но Твое тепло еще долго-долго согревало меня...

...Но так и не канул я в небытие. Не ушел. Вопреки моему жгучему желанию, не остановилось мое сердце. Отчего?.. Почему?.. Не потому ли, чтобы я смог написать эти строки о Тебе, чтобы люди знали, что они жили на земле в Твое Чарующее Время...

Проходили осени.

Проходили зимы.

Проходили лета.

Прошли годы.

Но годы ничего не стерли во мне, ничего не притупили. Как ни странно, время оказалось бессильным перед моим чувством к Тебе. Твое божественное имя живет во мне, и я это имя не доверю никому... Ты теперь от меня далеко-далеко, недосыгаемо далеко. И я часто думаю, что было бы, если бы все сложилось по-иному и мы бы остались вместе?! Что было бы?! Что?! Как отродис бвемья вместе по жизненной тропе?!

Государственная библиотека Югры	КО
---------------------------------	----

Государственная библиотека Югры	ОЭ
---------------------------------	----

- 0103555-3

Недавно я узнал, что Твоя подруга, та славная и красивая блондинка, ушла из жизни. Жаль ее, жаль... Теперь свидетелями нашего таинственного осеннего свидания в Твоем городе остались мы вдвоем. Нас двое. Ты и я — и больше никого.

Жизнь моя, как Солнце в полдень, уже поворачивается в сторону заката. И наверное, мы с Тобой уже не свидимся. Но я знаю, что никто и никогда не смог и не сможет полюбить Тебя так, как я любил и люблю Тебя.

Теперь я тешу себя одной мыслью, что в Нижнем мире, как уверяла меня моя языческая бабушка, каждый человек, и я в том числе, проживает еще раз одну жизнь, но только в обратном направлении. И сейчас я живу надеждою, что в той жизни я проведу с Тобой еще один день в Твоем осеннем городе и еще раз испытаю короткий миг наивысшего счастья.

Ради этого стоило пройти по этой жизни...

*Барвиха,  
27 января 1993 года*

# МОЯ КНЯЖНА

*Осенняя грусть*



---

Ты будешь вечно незакатная  
В душе тоскующей моей!

*В. Чуевский*

Ты собиралась выйти замуж в конце осени. И это была Твоя последняя поездка со мной. Мы жили в горах, в доме моего друга, в Северной Норвегии. Точнее, в Лапландии.

По утрам я рано просыпался. И подолгу лежал в постели, прислушиваясь к тишине. А тишина была изумительной... Потом поднимался и шел к окну, смотревшему в полдень. За окном, в низинке под горой, протекала небольшая речка. На ее дне и берегах светились круглые камни-голыши, а через нее вытянулся неширокий мост, прикрытый белой известковой пылью. По нему и по петляющей на склоне дороге мы выбирались «в мир».

Дорога, уходя вдаль, связывала оба берега с белобокими валунами, обросшими оленьим мхом. Но основательно объединяла все легкая предрассветная дымка, висевшая в небе ранней осени. Она приподнимала и камни на склонах, и вершины гор с ельником, и белый ягель, и воду горной речки, и наш дом. И я, мне кажется, был неразсторжимо связан со всем этим вечным на земле.

И, конечно, с Тобой...

Я смотрел на осень и наполнялся неумемной силой пронзительно чистого горного воздуха...

Обычно мы встречались за утренним чаем.

Завтракали за огромным столом в углу холла на втором этаже. Мы располагались друг против друга. Я сидел и смотрел, как Твои пальцы легким прикосновением согревали ножи и вилки, тарелки, чайную ложечку

и чашку. Смотрел и слушал Твой мягкий, как свет осеннего утра, голос.

Я молча впитывал в себя ореховую печаль Твоих широко распахнутых очей. В их томной глубине всегда гнездилась затаенная печаль, о которой, возможно, Ты и сама не подозревала. Печаль оставалась там, даже когда Ты улыбалась.

По утрам мы больше молчали.

И я молчал.

Я думал о Тебе.

О том, что Ты выходишь замуж...

В то утро мы слушали радио. И Ты переводила мне последние новости. А в мире было тревожно. Особенно на нашей Родине. И выпуски новостей мы ловили каждое утро.

После, вздохнув, Ты тихо сказала:

— Войны не миновать...

Я принялся Тебя убеждать, что мы, как человеческое общество, с каждым годом становимся мудрее и поэтому уже пережили эпоху войн, эпоху самоуничтожения. А любая гражданская война—это самоуничтожение, это самоубийство народа. И цивилизованному обществу это не грозит... Ты взглянула на меня как на младенца. Возможно, в этот миг я и в самом деле выглядел сущим младенцем.

В Твоих глазах и движениях было много таинственного и непонятного. Порою мне казалось, что я знаю Тебя лучше, чем Ты сама. И мне хотелось рассказать Тебе, кто Ты есть. Но потом приходило ощущение, что я ничего не знаю о Тебе.

После завтрака мы обычно уезжали в горы.

В эту пору ранней осени в горах было удивительно прекрасно. У природы, как у гениального художника, нет ничего лишнего. В зелень ельников и сосняков вплетались золотистый огонь карликовых березок и нежная светлость оленьего ягеля на склонах гор. Светило солнце. Было не жарко и не холодно.

Воздух словно родниковая вода — не надышаться, не напиться.

Голубизной отливала чистая даль.

Только горные реки отсвечивали суровым свинцом.

Осень медленно, но верно вступала на эту землю.

Мне вспомнилось, что дома, на сибирском Севере, на Оби, в это время года уже довольно прохладно. Если не сказать, что холодно. Здесь же сказывалось дыхание Гольфстрима.

В горах хозяин дома показывал нам свои владения. И пастбища, и корали, и сборные пункты, и, конечно, оленьи стада. У меня было много вопросов. Меня интересовало все. И наш хозяин охотно все объяснял. Ведь здесь многое в хозяйстве было не так, как у нас в России. Оленеводы спешили на пастбище в легковых автомобилях, по асфальту. Переговаривались между собой по радиотелефонам. В случае надобности могли позвонить домой. Да что домой, в любую точку планеты, где есть телефон... Стада загоняла в кораль не быстроногая лайка, а легкий вертолет... Нашим оленеводам такое и не снилось.

Хозяин обстоятельно отвечал на мои вопросы. А ты переводила мне.

Ты была моим языком.

Ты была моим бесконечным вопросом.

Без Тебя я не мог сделать ни шага. Без Тебя я уже не мог представить себе свою жизнь. Но тем не менее я иногда ловил себя на том, что подтрунивал над Тобой. Однажды, когда Тебя за что-то нужно было похвалить, я с легкой усмешкой спросил:

— А за что?

И Ты, уловив мой тон, ответила с улыбкой:

— За красивые глаза!

— А разве у Тебя красивые глаза?

— Разве не так?

— Вот не обращал внимания! — слукавил я.

На самом деле мне нравилось ловить свет Твоих очей. Ибо Твои глаза излучали, подобно белой ночи, живи-

тельный свет. Ровный и мягкий. Свет, исцеляющий тело и душу. Свет, согревающий меня. Я чувствовал, как тепло плавно охватывало меня...

Ты, конечно, все понимала. И на мой лукавый ответ ничего не сказала. Только опустила и медленно подняла ресницы.словно птица, которая расправила крылья, но потом сложила их. Раздумала, не стала улетать... Бывало, встрепенув ресницами, Ты уносила далеко-далеко от меня. Бывало же, пригасив свет очей, наострив ресницы колючим ельником, словно непрístupным щитом, отгораживалась от всего мира. Но бывали Твои очи и другими, близкими и понятными мне... Я украдкой ловил трепет Твоих ресниц. Они чутко отзывались на каждый шорох в горах, на шелест каждой травинки у родника, на каждое прикосновение к Тебе...

Горы преподносили нам много неожиданного. Но, кажется, больше всего они изменили Тебя. А возможно, и меня. Мы как бы заново нарождались.

Ты была моими глазами.

И я Твоими глазами смотрел на эти горы. Я видел теперь все Твоими глазами. Ты входила в меня. Ты начинала жить во мне.

Так проходил день.

Так утекала эта осень.

Так мы с Тобой входили в жизнь этой страны...

По вечерам, после ужина, мы обычно заезжали в близлежащий городок на кружку пива или бокал легкого вина. В баре всегда было свободно, чисто и уютно. Но главное — всегда встречали нас как старых добрых друзей. Здесь всегда были рады нашему приходу.

...Ты собиралась выйти замуж на исходе осени...

К нам подсаживались друзья и приятели нашего хозяина. В этот вечер к нашей компании тоже присоединились несколько человек. Директор Саамского института говорил о роли науки в жизни арктических народов. С американцем-эскимосом вели речь о проблемах выпаса оленей на Аляске. А приятель нашего друга, молодой

ученый, рассказывал о своем увлечении топонимикой. Он выявил сотни саамских названий населенных пунктов, гор, рек и озер во всей Лапландии. Ведь все норвежские, шведские и финские названия появились намного позже по времени.

И нашему другу-хозяину было что сказать. Кроме всего прочего, он был автором солидной книги о традициях и обычаях своего народа. Я познакомился с ним три года назад на Международной конференции коренных народов мира и сразу подружился. Переводчики за день так изматывались, что к вечеру у них не оставалось сил для неформального общения. И однажды, просидев всю короткую белую ночь в кафе за кружкой пива, мы прекрасно обошлись без переводчиков. Мы искали древние финно-угорские корни между остяками и саамами. А их оказалось немало и в языке, и в культуре, и в промыслах. Мы уверовали в то, что в наших языках достаточно общих слов, чтобы объясниться друг с другом в простейшей ситуации. Словом, тогда мы почувствовали себя близкими родственниками.

Сейчас, конечно же, больше всех доставалось Тебе как единственному переводчику. Мы все общались, отдыхали, а Ты работала. И я, жалеючи Тебя, старался говорить коротко, экономно.

Выпивали здесь понемножечку. За весь вечер посетитель обычно обходился одной-двумя кружками пива. Или парой бокалов вина, рюмкой коньяка. Впрочем, крепкие напитки разрешались строго до определенного часа. То ли до десяти, то ли до одиннадцати. Да и приезжали сюда не выпивать, а пообщаться, обменяться новостями, взглянуть друг на друга. Ведь у каждого в доме, включая и нашего друга хозяина, есть набор самых разнообразных вин и напитков.

В этот вечер разговор с нашим другом не прерывался, когда мы выходили из кафе. Когда мы садились в машину и ехали домой. Когда входили в дом и поднимались на второй этаж. Может, только на пару ми-

нут наступила пауза. Но потом беседа возобновилась в холле второго этажа за столиком с чаем и кофе. Мы удобно расположились в больших черных креслах и на таком же диване. И вели неторопливую речь о жизни.

...Ты собиралась...

Мы сидели втроем. Ты, как бывало всегда, переводила наши слова. Мне было покойно. Я слушал Тебя. Может быть, в это мгновение я позабыл о том, что Ты... Потом, в паузу, Ты откинула голову на высокую спинку кресла, повернула лицо к правому плечу и устало опустила ресницы. На черном фоне кожаного кресла излучали тихий свет твоё белое-белое, как снег, лицо и долгая прядь русых волос. Я, увидев это, не то подумал, не то сказал почти беззвучно: «Моя Княжна!..» И повел головой в сторону дивана, ибо Тебе надо было отдохнуть.

Мне вспомнилось, как я в первый раз произнес эти два слова: «Моя княжна». Ты удивленно распахнула свои ресницы, внимательно оглядела меня и после долгой паузы спросила:

— Кто про княжну сказал?

— Никто.

— Тогда откуда?

— Догадался...

— А-а-а,— почти беззвучно сказала Ты.

А догадаться было нетрудно. Я давно обратил внимание на твою фамилию. В дореволюционной России она была довольно широко известна. Твои предки внесли значительный вклад в духовное возрождение своего Отечества. Вернее, в сокровищницу духовной энергии России и русского народа. Без этой духовной энергии до девятьсот семнадцатого года не продержалась бы не только Россия, но и русский народ со всеми инородцами Российской империи. И в магии имени Твоего бóльшую роль сыграла Твоя родословная, Твои предки, чем что-либо другое. Семнадцатый год почти уничтожил Твой род. Кто сложил голову на полях Гражданской войны, кто сгинул в концлагерях Севера, кто успел уйти в эмиграцию... И Ты вместо

родового поместья близ Первопрестольной появилась на свет в Заполярье, на берегу студеного и колюче-неуютного океана. И Твои родители вынуждены были заниматься скорее разрушением духовных начал, а не созданием, как это делали ваши деды и прадеды. Все перевернулось: кто мог работать головой, тому дали кирку и лопату... Магия имени—одно, но мое внимание привлекало и другое. То, с какой грацией Ты держалась на приемах. Как Ты вела беседу. Как входила в зал. Как танцевала. Как садилась за стол и притрагивалась к приборам. Словом, влекло все то, что никаким образованием не получить. Это должно быть в крови. Возможно, в прошлом веке Твои прабабушки с такой же грацией выходили на бал...

Как-то я высказал мысль о возможном возрождении древних родов. В том числе и Твоего. Ты, озарив мягким светом очей, только улыбнулась моей наивности. Ведь время крепко подрубило корни Твоего рода. По слухам, в Штатах, в Нью-Йорке, остался лишь один престарелый князь-меценат, который иногда устраивает выставки живописи.

...Ты собиралась выйти замуж...

За столом мы продолжили вечер вдвоем с хозяином и теперь общались без Тебя. Я сидел и спиной улавливал тепло твоего живота и твоих грудей. И в себя вбирал Твое тепло. А собеседника слушал вполуха и отвечал ему невпопад. Я думал о Тебе. В Тебе была магическая сила духа. Завораживающая магическая сила в движениях и в мыслях. Ты являла собою образ возрождающейся России с Твоими славными предками в прошлом и с туманным будущим. Ты являлась центром Вселенной, и все вращалось вокруг Тебя. Такой Ты мне представлялась в эту минуту. Так я думал о Тебе.

А время мимолетно.

А время быстротечно.

Так кончалась осень.

Так незаметно подбиралась зима.

Утром я проснулся рано-рано. Еще до рассвета. Проснулся я от шороха. Мне показалось, что Ты, как осино-

вый листочек, шелохнулась под одеялом в своей спальне на втором этаже. Я лежал неподвижно, прислушиваясь к предраассветной тишине. И почудилось мне, что слышу Твое ровное, легкое дыхание. И теперь Твое дыхание и покой полностью зависели только от меня. Ведь во всем доме мы с Тобой жили вдвоем. Во всей Вселенной мы с Тобой вдвоем. Я закрыл глаза и увидел Тебя. На Тебя приятно было смотреть. На Тебя всегда хотелось смотреть. Ты радовала глаз... Так я лежал, смотрел на Тебя и слушал утро.

Ты была моим словом.

Ты была моим слухом.

Ты была моими глазами.

И наконец Ты стала моей душой. А отрывать от себя душу было невыносимо больно и тоскливо... И я старался не думать о близкой разлуке. О неминуемой разлуке.

Но время разлуки пришло.

Время разлуки...

...Ты собиралась выйти замуж на исходе осени...

Мы расстались.

Пришла машина.

Ты села в машину.

Ты, обдав меня белоночным светом печальных очей, села в машину. Во мне все разом остановилось и замерло...

Машина тронулась и увезла Тебя. Увезла на Север.

Нет Тебя...

Ты простилась со мной только движением печальных ресниц.

Теперь я постоянно думал о Тебе. Думал о неосознанной печали Твоих глаз и ресниц. Думал о Твоем свете, о Твоем тепле. Думал о Твоем роде. И кажется, понял, отчего Ты так печальна. В Тебе жила неосознанная печаль по уничтоженному в семнадцатом году роду, по растоптанному трону, по уничтоженной и оскверненной России. И в этой печали пока никто Тебе не сможет помочь. Ни государство, которое не желает признать свою вину пред Тобой и Твоим родом за российский разор, ни

тем более охочие до чужого добра оглоеды и душегубы, погревшие на этом свои руки.

Без Тебя опустели горы.

И я уехал в Южную Норвегию. Там осень длиннее.

Но ничто не радовало меня. Ни жизнь в охотничьем домике на берегу живописнейшего озера в горах. Ни удачная охота на лосей в горных распадках. Ни заманчивая ловля рыбы во фьордах. Ни теплые солнечные дни. Я вспоминал Тебя. Вспоминал Твой голос. Вспоминал и слышал каждое Твое слово. Однажды утром Ты проснулась от странного звука: цок-цок-цок. Открыла глаза и увидела, что к Тебе пришел белый пес по кличке Байт. Ты тогда еще не знала его имени. Но тем не менее Ты стала подзывать его. А он оказался очень застенчивым: потупил умные глаза, наклонил голову и тихонько, как бы извиняясь, удалился. Потом, позже, словно для знакомства, он подходил и ко мне. Глянул, помахал хвостом и отошел. Он был таким же деликатным, как и хозяйева. Вечером они тихо и незаметно исчезали, и мы оставались вдвоем в огромном по нашим меркам доме. Ты жила на втором этаже, а я на первом. И у каждого на этаже, начиная с сауны, было все, что нужно для нормальной жизни. Словом, это дворец, а не дом. В первые дни я часто плутал по разным лесенкам и площадкам в поисках своей спальни.

По вечерам было хорошо.

То было последнее...

...Ты собиралась...

Все напоминало о Тебе. Я грустно улыбнулся, обнаружив в сумке два бутерброда. Ты приготовила их для меня на поездку в горы еще там, на Севере. Но я о них позабыл, и они уцелели. К ним прикасались Твои руки, и они сохранили Твое тепло и Твою грусть. Я увидел твое чистое и белое как снег лицо. Увидел твой строгий изящный профиль. Увидел твои трепетные ресницы. Увидел свет твоих очей. Теперь я только смотрел на Тебя и молчал. Молчал часами, днями, неделями. Под предлогом, что нет переводчика, молчать было удобно. Никто

не мешал мне смотреть на Тебя. Ведь Ты все еще была рядом со мной.

Осень.

Увядали листья.

Увядали травы.

Увядала земля.

Накрапывал холодный дождь.

И здесь, на юге, осень из младенца превращалась в старушку со следами былой прелести.

Так заканчивалась Твоя последняя поездка со мной. И чем ближе подступал конец осени, тем тоскливее становилось мне. Кончались мои земные дни. Ведь я умирал вместе с осенью...

Возможно, и Ты вместе с осенью таяла на своем печальном Севере...

*Трондхейм, Норвегия,  
октябрь 1993 года*

# ГДЕ ЖЕ ТЫ, ОСЕНЬ?

*Эссе*



---

*Р. Н.*

Осень водила меня по таежным нехоженным тропам. Она что-то ласково шептала мне на опушке леса. Я смотрел на высокое-высокое небо, на плавающие в голубой мари дальние сопки, на восходящее чистое солнце и все слушал и слушал ее нежный, очаровывающий шепот. Я видел, как она играла с золотыми листьями березы, перебирала хвоинки и травы, встряхивала дремлющие кусты. Потом из тайника, ведомого только ей одной, она извлекла огромный оранжевый лист, и он, словно маленькое теплое солнце, медленно поплыл навстречу мне...

Осень позвала меня в светлый сосновый бор-беломошник.

Она остановилась на взгорье, где светлородые сосны тихо перебирали струны остяцкой скрипки. И я, замерев, слушал эту симфонию золотисто-огненной коры, зеленых и порыжевших иголок, седых лишайников и белого ягеля. И высокое небо вторило соснам невесомым смычком журавлиных стай, и ветерок тонко и нежно подыгрывал на струнах паутины, и лучи солнца легко и плавно скользили по неприметным клавишам чуткого бора. И под эту симфонию все вдруг поплыло в прозрачную синеву бездонного неба.

Осень вела по зыбким болотным кочкам.

Она замедлила шаг возле пурпурно-трепетной осинки. Осинка, упругая и гладкая, застенчиво укрылась под сенью старой ели. Только пурпурные листочки напевали древние мелодии рек и озер, черных урманов и рыжих болот.

Осень привела в тихое чернолесье.

И была она, и была рябина. И была огнекудрая рябина холодной и терпкой, тревожной и сладкой, прекрасной и дивной, словно поцелуй любимой женщины.

Осень заманила в укромный лесной закоулок.

Она раздвинула поникшие травы. Она раздвинула поздние блеклые цветы. И аромат побитых первыми заморозками цветов, и аромат примятой травы. Волглый запах прошлогодней листвы, волглый запах таежной земли. И было и радостно, и грустно, и больно. И было и тепло, и уютно, и хорошо. И в этом была прелесть ее... Потом было высокое и далекое небо с седыми журавлями и всеобъемлющим солнцем...

Осень водила за собой по таежной земле.

И может быть, я подумал:

«Как хороша ты, Осень...»

И может быть, я сказал:

— Как дивна ты, Осень!..

И быть может, я крикнул, позабыв обо всем:

— Как прекрасна ты, О-сень!

Крикнул.

И быть может, крикнул слишком громко.

И она грустно улыбнулась и ушла. Она ушла по таежным нехоженным тропам, по светлому сосновому бору, по зыбким болотным кочкам. Она ушла по тихому чернолесью, по укромным лесным закоулкам, по опечаленной таежной земле. А меня с упоением били хлесткие дожди, били злые ветры, били колючие иглы и пурпурно-золотая листва. Но все тщетно. Она ушла. Она легким белым облаком растворилась над топкой болотной трясиной и ушла в небо.

О-о-о, где же Ты, О-о-осень?!

Где же Ты?!

*Ханты-Мансийск,  
1972 год*

# **В ПОЛЕТЕ В БЕЗДНУ**

*Рассказ*



---

Еще до полета в бездну, на зыбкой грани между жизнью и смертью, были ружейные стволы, нащупавшие жертву.

В наплывающих сумерках рыжее пламя выстрела полоснуло по памяти и на мгновение отбросило его в далекое детство, к устью дышащей живым огнем русской печи. Огонь неистово клочкотал в кирпичной теснине. А он, примостившись на обшарпанном табурете, поджаривал на огне голые пятки. Поджаривал крепко, основательно. Сначала подставлял обе пятки. Потом опускал левую ногу и грел только правую. Затем менял местами. Пока одна пятка остывала, через другую тепло приятно входило в тело. И после этого снова обе пятки в огонь, до тех пор пока они выдерживают жар, пока не начнут дымиться. Вся премудрость заключалась в том, чтобы втянуть в себя как можно больше тепла, чтобы этого тепла хватило до самой школы. А если и останется чуточку лишнее — то совсем хорошо.

Когда пяткам стало совсем неважно от жары, он встал, подошел к боковому окну и на обледеневшем стекле отколупал маленькую круглую дырочку-глазок. Приложился к нему. Прямо по-над березкой с развилиной, вдали, за крышами соседних домов, на взгорке, тянулась в небо белая струйка дыма. Это значило, что главная школьная печь топится, все в порядке — можно смело собираться в путь.

Он вернулся на свой табурет и снова подставил пятки гудящему огню. Впитывать в себя тепло тоже надо

уметь. Грея пятки, нужно сидеть неподвижно и смотреть на пламя. Глаза тоже грелись, тоже притягивали тепло. Через них теплая волна проникала в голову, опускалась вниз и добиралась до самого-самого нутра.

Грелись ресницы. Грелись веки. Грелись брови. Грелся лоб. Грелся нос. Грелся подбородок. Грелись щеки. Средняя часть тела согревалась через руки. Руки подставлялись огню то ладонями, то тыльной стороной. При этом поворачивались медленно, не спеша, потирались друг о друга. Время от времени теплые ладони поглаживали живот сверху вниз, как бы вправляя огненные струи внутрь. Потом открытые ладони скрещенных на груди рук, похлопывая по плечам, вгоняли огонь в верхнюю часть тела.

Но главной силой, притягивающей тепло, были, конечно же, пятки. Они пытались втянуть в себя весь огненный жар русской печи. Ведь в ближайшие десять минут им предстоит выдержать самое суровое испытание — отдать заснеженной улице часть тепла и при этом не обморозиться, уберечь от простуды хозяина.

Грелись пятки. Грелись ноги. Грелось все тело. Наконец вобрав в себя нужное количество тепла, он опустил ноги, прикрыл дверцу печи, застегнул на все пуговицы латаное-перелатаное пальтишко, натянул на голову потертую шапчонку, не глядя опустил руку и взял у правой ножки табурета тряпичную сумку-портфель с учебниками, окинул хозяйским взглядом пустую избу и вышел на крыльцо. Припер дверь в сенях черенком лопаты, прошел за калитку и, привычно глянув по улице вправо-влево, развернулся всем корпусом и полетел в школу.

Непростое это дело — летать в школу. Летать тоже надо умеючи. Но он, слава Богу, давно уже научился летать. И сейчас он несся во весь опор, едва касаясь голыми пятками мерзлой белой земли, крыльями растопырив руки. Ногами нужно перебирать быстро-быстро, чтобы они больше находились в воздухе, нежели на снегу. Ведь поджаренные пятки с каждым прикосновением отдава-

ли частицу тепла студеной тропе-дороге. Когда очень крепко разгонишься, наберешь скорость — появляется ощущение полета. Ни с чем не сравнима прелесть полета! Тут на мгновение и про зимнюю стужу забываешь, и про голые пятки. Обо всем забываешь. Так начинают летать выпавшие из гнезда птенцы. Два-три взмаха еще неокрепшими крылышками — в воздухе. Потом ножками прикоснулся к земле, оттолкнулся — и снова в воздухе. Так и летит: два-три взмаха — воздух, шлеп — земля.

Шаг-другой — толчок. Взмах — полет. Земля — воздух. Воздух — земля. Главное, на одном дыхании долететь до школы. Не останавливаться, не мешкать. И чтобы сумка-портфель не вылетел из рук, учебники не рассыпались на снегу, ноги не поскользнулись ненароком.

Как раз ровно одного дыхания у него хватало до самой школы. Натренировался, научился летать. Было на это немало дней. А все потому, что у них с матерью была одна пара валенок на двоих. Обычно у кого обувь — тот на улице, кто с голыми пятками — тот сидит дома. Но выпадали дни, когда обоим надо идти по делам. У кого дальняя дорога — тому и доставались валенки. Вот и в это утро председатель отправил маму вместе с другими колхозницами за сеном на дальних покосах. Уехали валенки. В школу можно было не ходить. Да он уж давно приспособился обходиться без обуви. Что стоит пролететь сотню-другую метров по-над снегом?! Нужно только хорошо поджарить пятки...

До такой жизни докатились как-то совсем незаметно. Объявили сбор теплых вещей для Красной Армии. Сдали все, что можно было, что принимали. Как же, отец на фронте, может, замерзает в окопах, может, что достанется и ему. После делились с самыми бедными в деревне, помогали, чем могли. Потом, когда стало голодно, меняли вещи на продукты. Многие вещи изнашивались, прохудились. Так постепенно опустела изба. Осталось самое необходимое. Одна пара валенок на двоих — это еще не совсем плохо. У некоторых соседей и того хуже,

а тут еще и у сестренки Нюрки есть свои валенки, бегают в них в школу. Правда, они маловаты, только на ее ногу, другие в доме уже не наденут.

Так он долетел до школьного крыльца. Притормозил, перевел дух и только затем дернул дверь. Входить нужно солидно, без суеты и спешки, всем своим видом показывая, что тебе все нипочем, хоть и пробежался по снегу босиком. Вошел—и сразу в кубовую. Там печка топилась. Зашумели ребята: «Ванька прилетел! Место—Ваньше!»

Все придерживались строгого правила: вошедшему с улицы—место у печки. Он примостился на табурет и сунул пятки в открытую дверцу топки. Погреть-поджарить. Он имел право несколько минут поцарствовать у огня, чтобы восстановить утраченное тепло. Потом нужно уступить место следующему, кто войдет в школу. Бегали босиком, конечно, не все мальчишки. Кто от нужды, а кто просто так, чтобы пофорсить, мол, мы тоже не лыком шиты, и мы можем по снежку голыми пятками. Особенно тяжело приходилось тем семьям, где не было мужчин, где отцов и старших братьев забрали на войну.

Прозвенел звонок на урок. Кубовая опустела. До следующей перемены. Это самое шумное и веселое место в школе. Все сбегаются сюда погреться. И свои деревенские ребята, учинские. И интернатские из соседней деревни Евры. Там в начале войны школу закрыли, а учеников привезли сюда, в Учинью, в интернат. Питаются они в интернатской столовой. Жизнь у них более сытная, чем в доме у Ваньши. Всегда есть горячая каша, кусок хлеба и чай с кусочком сахара. Раз в день получали дольку масла. Правда, с перебоями.

Когда открыли интернат, когда совсем тяжело стало в семье, председатель колхоза переговорил со школьными властями и сказал матери:

— Ну, Анфиса, одного твоего будут кормить в интернате.— Помолчал, потом добавил.— Понимаю, тебе трудно. Но государству сейчас еще труднее...

С тех пор в интернатскую столовую они бегали по очереди. Если он шел на обед, то Нюрка — на ужин. А на следующий день менялись: кто вчера обедал, тому сегодня доставался ужин. Само собой установилось одно правило: в столовой съедали все, кроме масла. Эта крохотная долька заворачивалась в тряпицу и приносилась матери. Они оба не столько понимали, сколько чувствовали, что без этой их поддержки мать долго не выдержит на тяжелой колхозной работе. Все хозяйство держалось на женщинах. Рыбная ловля, обработка рыбы, погрузка и разгрузка, лесозаготовка, покос, дрова, извоз... Не раз видел Ваньша, как бабы бегут за санями. Все одеты почти одинаково: верх в телогрейке, низ в валенках, а серединка почти голая. Вот они, погоня лошадей, и не садятся в сани — пробежкой согревают себя в сильный холод.

Звонок с последнего урока. Но домой он не спешит. Нравится ему в школе. Но главное — подготовиться к полету домой. Разыскал Нюрку, наказал:

— Беги домой, печку затопи.

Впрочем, она и без напоминания знала, что делать.

Школа быстро опустела. Интернатские дружно понесли на обед. Сегодня обедает Нюрка, а ему нужно дожидаться ужина. В кубовой он пристроился у печки и начал поджаривать пятки. Опять их нужно так прогреть, чтобы хватило тепла до самого дома. А дома снова их в печку — и полный порядок. Но если прибежишь в холодную избу и долго не согреешь ноги, тогда можешь заболеть. А кому хочется болеть?!

Глядя на рыжее пламя в печи, греясь, он прикидывал, что ему сегодня предстоит сделать. А дел невпроворот. Если мама вернется засветло, надо сходить к старым амбарам, наковырять со стен хоть с десяток дробинок. До войны мужики здесь пристреливали ружья. А сейчас мальчишки со всей деревни добывают тут свинец. Сплющенные дробинки дома раскаляешь на сковороде, они снова принимают округлую форму. Снаряжаешь

патрон. Если найдешь пулю — счастье. Тут наплавить дробинок не на один заряд. А коль не повезет, то придется насечь на острие топора кусочки от старого гвоздя. Потом их можно хорошо прогреть опять же на сковороде, чтобы хоть чуть-чуть оплавилась острая краешки-нарубь. И вместо дроби зарядить ими хотя бы один патрон. Говорят, такой заряд портит ствол ружья, но что делать. Есть-то хочется. Это работа на сегодня. А будет патрон — завтра после уроков можно сбегать в лес на охоту. Может, косач подвернется. Заодно и петли на зайцев и куропаток проверить. Давно ничего мясного в доме не было.

По всем приметам председатель завтра должен дать передых коням. Стало быть, мать никуда не поедет, валенки свободны. Он может надеть их с утра. Подошвы крепкие, до весны дотянут, немного осталось до теплых дней. По-мужицки правильно смекнул, что лучше иметь одну пару хороших пимов, чем две худых. Когда его катанки совсем продырявились, их голенища пустили на подшивку маминых валенок. Правда, они великоваты для Ваньшиной ноги. Но он укладывал в них толстые стельки из травы, а поверх старых носков еще наматывал и травяные портянки — валенки укреплялись на ногах.

Мысль о косаче напомнила об осени, о сытном времени года. Мать поднимала их с Нюркой раным-ранешенько, чтобы они до школы успели сходить проверить слопцы на глухарей в сосновом бору. Иногда попадалось до семи птиц в одно утро. В такие удачливые дни приходилось делать две ходки. Тут сил и времени не жалко. Осенью глухарятина жирная, вкусная. Варили, жарили, парили. В дом приходил праздник. Праздник глухаря. Жили так сытно месяца два-три, до самых снегов. Но впрок мама никогда глухарятину не заготавливала. Для голодной и холодной зимы. Почему? Ваньша не знал. Только спустя много лет он поймет, что мать была слишком совестлива и добра, чтобы откладывать лишний кусок на завтрашний день, когда соседи живут

впроголодь. Угощала, делилась с теми, кто не мог промышлять слопцами.

По утрам очень не хотелось вставать. Особенно в такую рань. Но вскоре Ваньша нашел выход — стал досыпать на ходу. Главное, когда мать разбудит и встанешь, не нужно делать резких движений. Потихоньку вставай, одевайся, мягко ступая выходи за околицу — и ноги сами понесут тебя по лесной тропе, где знакома каждая выемка, каждый бугорок. Идешь как во сне, в легкой и сладкой дреме. И только увидев первого глухаря в слопце, весь встрепенешься. Какая удача! Какая радость! Тут сразу же проснешься. Сон как рукой снимет.

Так по осенним утрам с сестренкой Нюркой бежали в бор, как в кладовую. Возможно, с тех пор он стал ранней пташкой: просыпался в пять, а к шести уже мог прийти на работу, чем всегда поражал своих сослуживцев.

А огонь все полыхал в печи. Все согревал пятки, все согревал глаза, а через них и мысли в голове. Огонь привораживал волшебной силой. Огонь ласкал его хрупкое тело. Огонь укреплял его дух. У огня можно сидеть бесконечно долго. Но он знал меру. Когда вобрал в себя тепло, необходимое на пробежку до дома, встал и степенно вышел на морозную улицу. И полетел домой. Летя, он не ощущал холода, ибо в его очах все еще искрилось рыжее пламя всесогревающего огня...

В наплывающих сумерках промелькнуло мгновенье, ружейный ствол пыхнул рыжим пламенем — грохнул выстрел.

Выстрел вернул его из полувекового прошлого.

Глухарь, ломая сучья, полетел вниз и упал под лиственницу. Иван Андреевич проводил его взглядом до самой земли и снова вскинул ружье. Второй глухарь сидел на той же лиственнице, чуть выше первого. Лес ахнул от выстрела — и второй глухарь свалился наземь.

Он уже шагнул к глухарям, когда увидел, что Сашка Тутов с реки отчаянно машет ему рукой, показывая на

лиственницу с другой стороны. Сашка на моторке кружил на воде — завораживал глухарей. Если птица собиралась взлететь, то, услышав фыркающий движок, складывала крылья.

Сашка знал свое дело: то прибавлял, то убавлял газ. Это значило, что на дереве еще есть глухарь.

Перезарядив двустволку, охотник стал обходить лиственницу, зорко вглядываясь в верхушку, посеревшую в быстрых осенних сумерках. И точно: на противоположной от берега стороне лесины примостился третий глухарь.

Выстрел — третья птица камнем полетела вниз. Три глухаря на одной лиственнице! Вот это охота! Но Сашка Тутов, держа одну руку на румпеле, другой продолжал тыкать в сторону величественной лиственницы. Стало быть, там еще что-то есть.

Иван Андреевич отошел на десяток шагов и увидел на самой верхушке четвертого глухаря. Поднял ружье, выстрелил. Четвертый красавец с большим шумом плюхнулся на землю. Охотник опустил ружье, сдвинул на затылок шапку, перевел дух. Махнул напарнику: мол, давай, причаливай, добычу надо собрать. В ожидании друга присел на валежину. Рядом поставил двустволку. перевел взгляд под дерево — последний глухарь встал, сложил крылья, посмотрел черными бусинками глаз на охотника. Выразительно так глянул, словно спрашивал: что же ты со мной сделал? За что ты у меня отнял небо?! Не получив ответа, повернул голову и побежал в глубину леса, в чащу. Быстро так побежал, словно не был ранен или оглушен. Охотник машинально схватил ружье и рванулся за ним. Долго бежал. Наконец догнал и стволами перебил птице шею. Стрелять не стал, пожалел патрон.

На берег выскочил возбужденный друг-напарник Сашка, Степаныч, закричал:

— В жизни на одном дереве столько глухарей не видел!.. Ну, ловко же ты скосил их, Ваня!

Хлоп — скovyрнул! Хлоп — глухарь на земле! Ну и стрелок! Ну и пушка у тебя!..

— Да, пушка что надо, — поддакнул Иван Андреевич. — Только вот последний подранком в чащу побежал. Едва догнал, чуть не упустил. Быстро так удирал от меня!

— Жить-то всем хочется...

— Да...

— Давно столько глухарей не видел! — все удивлялся Сашка, почесывая седину на затылке. — Раньше-то дичи всякой полно было, а теперь опустела тайга.

— Все выкосили?

— Да, брат нефтяник как под гребенку все...

— Ничего живого не оставляет. Так, что ли?

— Да. Считай, нам, Андреич, крупно повезло.

— Ты погляди, красавцы-то какие! Как на подбор!

— Возможно, последние здесь, на нашей реке.

— У нас на Конде тоже было много глухарей, — вспомнил Иван Андреевич. — В войну только глухарями и спасались по осени. А после войны вот вырубili все леса — и кончился там глухарь! Жалко!

— Ну, считай, сначала твою реку кончили, а сейчас вот и тут прикончим. Потом локти начнем кусать.

— И мы с тобой, Саша, тоже истребители природы.

— Не мучайся, Иван! Если не мы, так завтра другие придут сюда, наши промышленники. На вертолете такой десант могут высадить — только ахнешь! У них же в руках — и техника, и оружие!

— Ладно, давай поехали, скоро совсем стемнеет.

— Поехали-поехали.

Охотники подобрали глухарей и по крутояру, заросшему багульником и мелким кустарником, спустились к лодке. Добычу уложили в средней части шлюпки, между сиденьями. Сашка занял свое место моториста на корме, а Иван Андреевич устроился на носу. Сели и оттолкнулись от берега.

Но мотор не завелся сразу. Сашка дернул шнур стартера раз, другой, третий. Еще подергал. Все бес-

полезно. Тогда он отвернул свечу и, ворча и проклиная некстати закапризничавшую железяку, начал счищать с нее нагар.

Иван Андреевич с носового сиденья веслом удерживал легкую шлюпку-казанку на середине реки, не давая ей прибиться к прибрежным корягам. Оглянувшись через плечо, нетерпеливо спросил напарника:

— Что у тебя там?

— Да свечку забросало.

— Скоро направишь? Уже темнеет.

— Да вот счищу нагар — и заведется.

— Вечно у тебя что-нибудь да заедает. Новый мотор, что ли, не можешь взять?

— Да мотор-то новый. Сезон еще не отбегал.

— Значит, моторист плохой.

— Заведу — будет хороший.

Сашка никогда не унывал, считался надежным напарником на охоте.

На реке было по-осеннему свежо. Подступал вечер. Замирала тайга. Тишина. Лишь волны от лодки грустно бились о глинистые берега. Казалось, лиственнично-елово-кедровый урман все ближе и ближе надвигался с севера и юга, безжалостно сжимая с двух сторон реку и людей. Сумерки все сгущались. И опускающаяся с небес сумеречность, преображая привычные очертания могучих лиственниц, хмурых елей и добродушно-мягких кедров, нагоняла на всю округу необъяснимую таинственность. Надвигалась ночь.

И вдруг в этой предночной тиши тот самый, последний глухарь встал на ноги, шумно хлопнул крыльями, вскочил на борт шлюпки, оттуда сиганул в воду и быстро-быстро поплыл от лодки. Охотников взяла оторопь. Они молча смотрели на плывущего глухаря. Первым опомнился Сашка, закричал:

— Держи его — уплывет!

Иван Андреевич кинулся к тому борту, но до глухаря уже не мог дотянуться. Далеко ушел.

— Весла давай! На веслах! — крикнул кормщик.

Вставив весла в уключины, Иван Андреевич энергично заработал ими, вертя головой влево-вправо, как филин, ибо сидел спиной вперед и не видел, куда уплывает беглец.

— Бери левее, левее! — азартно командовал с кормы рулевой. — Табань левым! Загребай правым!

Наконец догнали глухаря. У Сашки аж голос зазвенел:

— Все — хватай его!

Бросив весла, Иван Андреевич схватил глухаря, поднял его, стряхнул с него воду и затащил в лодку. Затем, положив на острый борт казанки, ударом весла разбил голову глухаря. Потом забортной водой сполоснул руки и, глянув на друга-напарника, пояснил:

— Чтобы зря не мучилась бедная птица.

— Теперь уж отмучилась — ты ей всю башку в кашу превратил.

— Похоже, больше не убежит.

— Да, живучий, однако, глухарь! — удивлялся Сашка.

— В жизни плавающего глухаря не видел.

— Это ваши кондинские не плавают, а наши ваховские еще не то могут выкинуть.

— Давай заводи, Саша! Поехали, а то совсем стемнеет!

— Сейчас, моментом заведу.

В тишине мощно взревел мотор. И тридцатилошадный «Вихрь» помчал их вниз по Сабуну, большому правому притоку Ваха. Через четверть часа на стоянке их радостным визгом встретила собачонка Белка, исправно сторожившая походное хозяйство охотников. Всю добычу сложили возле палатки, чтобы обработать сразу после ужина.

Быстро развели костер, повесили над огнем чайник и котел с остатками утреннего варева. Оба не на шутку проголодались. Было по-осеннему зябко. И охотники в ожидании ужина стояли у костра и перебрасыва-

лись короткими фразами, поворачивая к огню то руки и грудь, то спину. Собачонка Белка, положив морду на передние лапы, улеглась возле Сашки Степаныча и переводила всепонимающие глаза то на людей, то на котел над пламенем.

Потрескивал костер. Блики огня играли на лишайчатых бородах ближних елей. Было тихо.

И вдруг зашуршала и зашевелилась палатка, будто ожила. Охотники разом повернулись и обомлели. Глухарь с разбитой головой встал на ноги и дал деру в лес, в чащу, в темноту. Только в свете костра мелькнуло белое оперенье хвоста.

Глухарь скрылся в темноте. Словно и вовсе никогда не было здесь глухаря. Не шелохнулись люди. Исчез глухарь.

Тут сработал собачий инстинкт. Белка вскочила и, тьякнув, ринулась в темноту. Туда, где скрылся глухарь. Вскоре послышался хруст сучьев и хлопанье крыльев. И наконец из тьмы собака приволокла трепыхающегося глухаря. Последнего. Четвертого. Вершинника. С макушки величественной лиственницы. Предводителя глухаринной стаи. Все еще живого. Все еще не поверившего в свою кончину. Все еще цепляющегося за белый свет.

Молчали охотники. Долго молчали. Первым, как повелось, нарушил молчание Сашка Степаныч, глухо сказал товарищу:

— Не знаю, как у тебя, Иван Андреевич, а у меня до сих пор волосы дыбом стоят. Что бы это значило?!

Помолчав, тот грустно ответил:

— Это плохая примета.

Выдержав нужную паузу, пытаясь развеять печаль друга, Степаныч стал внушать ему:

— Так это примета нашего времени...

Но тут его остановил чайник, застучавший крышкой. Потом и котел заурчал. И только когда сели ужинать и, набулькав из бутылки в эмалированные кружки, выпили, Степаныч вернулся к прерванной мысли о времени, продолжил рассказ:

— Так вот, весной я ездил по делам в Москву. И заехал к шурина в Тулу. С шурином, как водится, за встречу выпили и закусили. А закусили огурцами. Шурина говорит: мол, за сезон съели пятьдесят девять банок огурцов. Никогда столько не съедали. А тут делать нечего, съели за милую душу. Ибо, кроме картошки и огурцов, что выращивают на своем участке, есть больше нечего. Жена работала на оружейном заводе — сократили. Дочь-химик — остановилось химическое производство: делали удобрения — дорого стало, никто не покупает. Сын из армии вернулся, через Чечню прошел — так нигде устроиться не может. Работы нет. И учиться пойти не может — нечем за учебу платить. Теперь ведь все платное. Сам шурина — шахтер, на Новой Земле работал. Деньжат поднакопил, да реформа весь его вклад в Сбербанке съела. Обещанную государственную собственность тоже не получила его семья. Ваучеры, говорит, сраные — это обман народа, ничего они не стоили. В МММ вложили — так они и пропали там. Остался гол как сокол. Выпил шурина, стал костерить власть, костерить правительство: «Дочерей наших в проститутки превратили, за границу продают. Сыновей наших киллерами сделали. Людей убивать научили. Деньги наши украли. Собственность украли. Власть украли. Союз разрушили. Европу, за которую отцы наши головы сложили, ни за что заокеанским хозяевам подарили».

Спрашивает шурина, мол, правду говорю? Киваю. Что мне оставалось делать? Это здесь, на Севере, еще терпимо, народ сводит концы с концами. А там, в средней полосе, нету жизни. А ведь там вся Россия, там весь народ...

Шурина все гнет свое, говорит: «Сейчас народ озлоблен. Ему терять нечего. Выйдет на улицы — все сметет. Только вот вождя нет, кто бы стал во главе народа. А народ знает, кого бить и за что бить...»

Иван Андреевич слегка поправил головешку в костре, спросил:

— Это что, новая революция, что ли?..

— Во-во, я то же самое у шурина спросил. А он говорит: как хочешь, так и называй. Хошь — революцией. Хошь — переворотом.

— Так ведь опять переколотим друг друга...

— Шурин мой на это так отвечает: другого выхода нет. Тот, кто все добро забрал у народа, добровольно не вернет. Второе дело: народ долго не может быть голодным и нищим. Отдать ему не отдадут. Стало быть, он сам все заберет. Жди, говорит, какой-нибудь заварушки: то ли революции, то ли переворота...

— Только этого нам и не хватало...— протянул Иван Андреевич.

Помолчали. Покряхтел Степаныч, достал поллитровку, плеснул в кружки. Без лишних слов выпили.

Потом в раздумье Степаныч сказал:

— Да и эти новые обнаглели до предела. Слышал, тут босс один приезжал из столицы. Так какому-то шакалу из его свиты суп не понравился в ресторане — выплеснул в лицо официантке. Откуда такая наглость? От безнаказанности, от вседозволенности. Чувствуют себя хозяевами жизни. Живут в охраняемых офисах и отелях, купить могут все и вся — вот и творят что хотят. Что им народ — так, рабочий скот, быдло...

— В семье не без урода.

— Так этих уродов-то скоро станет больше, чем нормальных людей. Вот в чем проблема!

— Кто довел страну до такого состояния? Да мы сами все это и сотворили. Точнее, с нашего молчаливого согласия...

— Точно, с молчаливого согласия! Так-то оно так. Только моего шурина уже ни в чем не убедишь.

Снова помолчали. Было слышно, как струилась вода в реке.

Покосившись на угол палатки, где лежали четыре глухаря, Степаныч проговорил тихо:

— Вот таковы приметы нашего времени. Это на них намекал живучий глухарь...

— Не-е, примета касается только меня,— возразил Иван Андреевич.— Твой шурин тут ни при чем...

— Брось, Андреич, верить сказкам.

— Если бы только сказка!.. А давай лучше на боковую. Давно уже спать пора. Не то утро проспим.

— Как бы не так, разве с тобой проспишь утро! Поднимешь ни свет ни заря!

Выпотрошили глухарей, напихали им в клювы и животы пихтовых веток, попарно связали их за шеи, повесили на еловые сучья и улеглись в палатке.

Долго не мог заснуть Иван Андреевич. Не давал покоя вожак глухариной стаи. И зачем только выстрелил в него? Ведь уже после второго глухаря стало не по себе. Всегда считалось дурным признаком, если охотник с одного места, не вставая, убивал много зверей или птиц. Во всяком случае, больше, чем полагается. Двух он подстрелил, а двум другим надобно было дать улететь. И никакая моторка не должна была их удержать на дереве. А сверхживучесть зверя или птицы и вовсе плохая примета. На него, на его семью надвигается несчастье. Так считалось у охотников-манси на его родной реке. Очевидно, и здесь, на этой земле, у остяков есть подобное поверье. Как отвести беду? Куда нужно подстелить соломки? Размышляя, крепко задумался над этим обстоятельством.

Только под утро стал засыпать. И то не спал, а дремал. И в этой дреме привиделось ему, как в детстве, в полувековом военном прошлом, парнишкой почти с ноготок, со старым отцовским дробовиком, который с трудом удерживал на весу, ранним осенним утром шел на своего первого глухаря. Увидел его, огромного, посреди тропы, на песчаном пяточке. Сами собой потекли слюнки. Подумал: сколько там мяса! И стал очень осторожно подкрадываться, пытаюсь подобраться как можно ближе. Поскольку имел всего один патрон с самодельным зарядом из мелко насеченного гвоздя, то и выстрелить надо было наверняка. Глухарь учуял опасность — вытянул

шею, насторожился. С двух сторон плотной стеной возвышался густой лес. С третьей—на тропе охотник. С четвертой, на другом конце тропы, стояла ветвистая сосенка, мешавшая взлететь. Все. Больше нет прогала для взлета.

Всего несколько мгновений стоял глухарь неподвижно. Потом быстро сообразил—повернулся в сторону сосенки, чтобы пробежать за нее, а там расправить крылья и с разбегу подняться в воздух. Но тут прогремел выстрел—две самодельные дробинки в голову свалили птицу.

Вот радости-то было! Семья получила пищу на пару суток. В войну каждый лишний кусок продлевал жизнь на несколько дней и ночей.

С тех пор столько охотился, столько добыл глухарей и всякого разного зверья и птицы! Но ни разу такой заговоренный глухарь не попадался. Тем более что сегодня стрелял папковыми патронами из мощной двустволки-вертикалки двенадцатого калибра, а не из старого дробовика с маленькой меркой дымного пороха и насеченным гвоздем вместо дроби.

На рассвете он встал, вышел из палатки.

Утро выдалось ясное, звонкое, морозное. Глухариное утро. Он поднял напарника-друга. Позавтракали, свернули вещи и добычу и поплыли вниз по реке, высматривая птицу. Однако до самого селения усть-сабунских остяков не попалось ни одного глухаря. Да и стаи косачей куда-то запропастились, в это утро не спустились на галечные пески.

В селении гостей встретили радушно. На лучшие места усадили, чаем и разными лесными нехитрыми яствами стали потчевать. Ивана Андреевича здесь знали и почитали как отца народа от мала до велика. Потом начали расспрашивать про охоту и рыбалку. Кого видели, что слышали, удачная ли была поездка. И охотники рассказали про последнего живучего глухаря, который трижды воскресал и почти мертвый убегал от людей. Хозяин се-

ления, седовласый остяк с трубкой, выслушав рассказ, очень опечалился. Долго молчал, затем сказал гостю:

— Ты убил глухаря-шамана. Не надо было его убивать...

И затих, опечалился весь дом. Опечалились все остяки. Сникли хозяйева, как будто в доме появился покойник. И понял охотник бывалый, что дела его плохи. И когда поплыли дальше, расположившись на носовом сиденье, оглядывая широкие речные плесы, он размышлял о том, как отвести несчастье от своих ближних. Он разом вспомнил всех. Детей, внучат и супругу, невестку и зятя, сестру и всех племянников. Чуть ли не впервые в жизни вспомнил про Бога. Боже, отведи от них беду.

О себе он не беспокоился, не переживал. Дай Бог всем прожить такую большую и полнокровную жизнь, какую прожил он. На свою судьбу не в обиде. Прошел по жизни без суеты, основательно осмысливая и ощущая мгновения каждого прожитого дня. Первая половина жизни прошла на вогульских землях, вторая — на остяцких. Начинал с учителя сельской школы. Затем директор школы, председатель сельсовета, инспектор районного отдела народного образования. Потом начался нефтяной бум — и судьба забросила его сюда, на восточную окраину округа. Медленно поднимался по служебной лестнице. И вот последние двадцать лет — второе лицо в районе. Власть района. А район, если считать по остяцким меркам, — это три больших притока на Средней Оби. По европейским меркам — целое государство. Первые лица приходили и уходили, а он оставался бессменным. В районе всех знал в лицо. И все знал, все мог.

Здесь же и стали его полушутя-полусерьезно называть отцом. Кто и когда придумал это имя? Возможно, это пошло с легкой руки старожилы района, деда Гребнева. Как-то позвонил он в город, кричит в трубку:

— Андреич, помоги! Баба загибается, в больницу бы устроить!

— Может она своим ходом приехать? Может ходить?

— Может.

— Отправляй. Придумаем что-нибудь,— пообещал Иван Андреевич.

На другой день он сам в аэропорту встретил старую женщину, в городскую больницу с ней поехал, с врачом переговорил — устроили в палату. Изредка, когда выкраивалось время, заезжал навестить ее. Считай, всю жизнь она отдала району, ветеринарным фельдшером проработала до самых преклонных лет. Потом, когда поправилась, отправил ее домой не рейсовым «кукурузником», а попутным вертолетом. Чтобы не потратилась на билет: откуда у пенсионера лишний рубль? Через полгода, уже летом, как-то залетел в гребневскую деревню. Дед как увидел его — чуть не в охапку загреб, затащил к себе домой, за стол усадил, в граненый стакан самогонки с верхом налил, говорит, не может остановиться:

— Ну, Андреич! Ну, отец! Уважил ты нас, старых! Согрел ты нас, горемычных! Бабу мою на ноги поставил! — Дед суеверно поплевал себе под ноги. — Совсем загибалась! А наши коновалы направление не дают — мест нет. Намекают: мол, это не от хвори, а от старости загибается. А я чую — не то, не то несут. Да и без бабы совсем я пропаду. Ну, тут про тебя вспомнил. Дай, думаю, брякну ему. Недаром, думаю, остяки Отцом его кличут. На почту подался. Говорю почтарке: найди его, дай переговорить, всю пенсию тебе выложу! Так я нашел тебя. А то и баба загнулась бы, и я за ней...

Иван Андреевич по плечу его похлопал, посмеялся:

— Да на тебе, дед, еще пахать можно, а ты на тот свет собираешься...

Дед и вправду был широким в кости, здоровым, двухсаженным богатырем. И хозяйство у него было крепкое, добротное, как у истинного крестьянина-хозяина.

— Это кожа да рожа крепки,— отвечал дед.— А изнутри-то я как все — без опоры долго не протяну...

Хозяин опрокинул свой стакан, а гость, чтобы не обидеть, пригубил. И тут, начав издалека, дед запустил свой главный вопрос:

— Теперь мы, пенсионеры, никому не нужны. Ни правительству, ни начальству, ни производству. Все от нас отвернулось, всем мы в тягость. И у тебя, Андреич, своих забот выше макушки. Остякам ты вроде бы должен помогать по должности, это твоя работа, это твой народ. И это ты делаешь хорошо. Недаром тебя как отца почитают. А вот мы, пенсионеры, скажи, Андреич, зачем мы тебе нужны?! Зачем ты тратишь на нас свое время?! Ведь от нас все равно никакого проку!..

Иван Андреевич внимательно взгляделся в деда, потом спросил его:

— А разве вы не люди?! Вы же люди. Вы же человеки...

— Эх-ма, Андреич, не поверишь: не помню, когда меня человеком-то называли! Когда меня за человека считали! Теперь ведь эти, новые, которые господа... Людей-то у них нет, человека в рабсилу превратили, чтоб, значит, делал им рубли...— У захмелевшего деда на глаза навернулись слезы, он зачастил, стараясь выложить все, что в душе накопилось:— Уважил, уважил, Иван Андреевич! Почитай, бабу мою впервой так в городе приняли! Как чинушу какого большого! Впервой за всю ее долгую жизнь! Без суеты-маеты встретили, привезли, устроили, полечили, отвезли! Да еще и за так на вертолетку посадили. Может, ей не столько от докторских микстур полегчало, сколько от твоего глаза да доброго слова, твоей заботы. Ты теперя у нас и вправду за отца-спасителя будешь! Баба моя за тебя Богу стала молиться! До скончания своих дней будет молиться! Я бы тоже помолился, коли бы верил...

На это Иван Андреевич, нахмурив брови, сказал ему строго:

— Дед, ты уже не в тот лес забуровил. Лучше выпей свою чарку, да я пойду, дела тут у меня еще есть...

Дед проводил его до калитки, долго тряс руку, все приговаривал:

— Ну, уважил! Будь здоров, отец! Будь здоров!..

С той поры дед Гребнев только так и обращался к нему, несмотря на возрастную разницу, «отец да отец».

В деревнях и селах его всегда ждали с нетерпением. Уйму вопросов ему приходилось решать. Шел народ к нему. Кому родовое угодье не так нарезали, кому жильё нужно, кому мотор или снегоход «Буран», кому стройматериалы, кому путевка... У каждого своя боль, своя проблема. Как тут мимо пройдешь? Да тут еще набегали общесельские проблемы по школам, медпунктам, клубам, предприятиям традиционных отраслей хозяйства, национальным общинам...

Правда, в городе, откуда управлялся район, тоже не меньше вопросов надо было решать. Туда стекались ходоки со всех трех рек с проблемами уже другого уровня. Кому в милицию, кому в прокуратуру, кому в суд. Иван Андреевич, когда позволяли обстоятельства, самолично водил ходоков по наиболее важным государственным учреждениям. Такая практика установилась почти двадцать лет назад, когда город бурно рос и дозвониться куда-либо по телефону было невозможно. У каждого более-менее приличного ведомства была своя связь. Быстро проехать тоже было мудрено: в те годы улицы были забиты всевозможным транспортом. Бывало, на каком-нибудь перекрестке, попав в уличную пробку, Иван Андреевич бросал машину с водителем и шел пешком. Пешком получалось быстрее. За ним «свита» — три-четыре человека деревенских ходоков, часто с детьми, с баулами.

В учреждениях, увидев его в окно, обычно говорили: «Иван Андреевич со свитой». Старались всегда помочь, просто язык не поворачивался ему отказать. Тем более не за себя хлопотал. А за людей он настырный, просто так и не отмахнешься.

Кроме этого, у каждого ходока возникали мелкие житейские вопросы — ночевка, обратные билеты, материальная помощь и тому подобное. Вообще люди, приходившие с родовых угодий и тихих сел-деревень, в бурно растущем городе чувствовали себя очень неуютно, словно дети малые. Не знали, куда идти, к кому обратиться, как доехать до того или иного места. Часто с ними приключались разные истории, их детской доверчивостью пользовались предприимчивые дельцы — спаивали, обкрадывали, обманывали. Вот и проторили тропку к Андреичу за помощью. А он не мог почти ни в чем отказать. Сам из такой же глубинки вылез, на своей шкуре испытал, что такое голод и холод, что такое нужда...

— К тебе ходоков больше ходит, чем к Ильичу в двадцатых, — подшучивали над ним сослуживцы.

— У Ильича-то, поди, и забот-то не столько было, — с улыбкой отвечал Иван Андреевич.

И сейчас на реке, примостившись на старом сиденье на носу моторки, молча смотрел Иван Андреевич на низменные берега слева и справа. Чем дальше вниз, тем больше густотравных заливных лугов и тем далее от воды уходит коренной берег с высокими увалами-горами. Словом, дремучие урманы левобережья неохотно тянулись к Оби, предпочитая отгородиться от навязчивой людской суеты илистыми луговинами со множеством протоков и малых речушек.

Но Иван Андреевич почти не замечал всего этого. Его не оставляла мысль о живучем глухаре. О глухаре-шамане. В детстве он слышал про приметку охотников, что живучая птица, особенно из глухариных, приносит в дом беду. Точнее, предсказывает грядущее несчастье. По поверью остяков и вогулов, живучий глухарь (бывает, это тетерев или копалуха) наполняется перед гибелью человеческим дыханием, какие-то мгновения, какие-то минуты проживает человеческую жизнь. Это значит, в семье этого охотника вскоре кто-то покинет землю.

Древняя печальная примета. И она всегда сбывается. И здесь, на стойбище, старый хозяин-остяк подтвердил это. Хотя и не сказал деликатно о прямом значении приметы, но и без слов все стало ясно: сразу умолк дом, будто наступил траур по усопшему. О вогульских корнях этой приметы у него как бы потускнела память, но здесь, среди остяков, они живы, и люди остро реагируют на них, ибо знают их горький отголосок в реальной жизни.

Судьбу не обманешь, судьбу и на резвой тройке не обскачешь.

И он разом, одной мыслью охватил всех своих родственников. Кто из них должен оставить жизнь? Кто должен уйти? Чьим дыханием наполнялся глухарь-шаман, трижды воскресавший из мертвых? До боли все близко. Ни с кем не хочется расставаться. Ни с кем! Никого не хочется проводить до срока в мир иной. А кому-то надо. Трагического предзнаменования не избежать. Вот и остается, что он сам, Иван Андреевич, как самый старший в семье, должен будет добровольно покинуть землю, чтобы никого не тронула преждевременная погибель.

Уже прожил свою жизнь, размышлял он. И прожил, кажется, не так уж и плохо. Правда, только перевалило за шесть десятков лет. Это не очень много. И чувствует себя пока легко, и бегаёт не хуже многих молодых. Еще легок на подъем. Недаром до сих пор еще не отпускают с работы. Способен, опытен, всегда отыщет мудрое решение любого вопроса...

Вот и дожил, настал миг, когда встал извечный вопрос: быть или не быть?! Для него вдвойне труден выбор: быть самому или другого подставить? Но за всю свою жизнь он никого и никогда не подставлял. Тем более на смерть не посылал. И сейчас никого не подставит. Правда, тут про его волю никто не спросит. Но если заранее закрыть эту дыру в потусторонний мир, подставив себя, тогда, по всей вероятности, беда обойдет стороной

всех членов семьи... Что же, самому надо готовиться. Другого выхода нет.

С такими мыслями он вышел на берег, когда лодка мягко приткнулась к сельскому причалу, к «вотчине» старого друга Сашки Тутова.

Сашку он сразу отпустил домой. А сам взял рюкзак и направился к гостинице Совета. Точнее, это была одна комната с кроватью и диваном, с отдельным входом, где обычно останавливались старшие чиновники района.

Никого не хотелось видеть. Надо побыть одному. Наедине со своими мыслями, со своей обреченностью.

У двери он поставил рюкзак, разделся, сразу сунулся под кран. Вода, как всегда, чуть тепленькая. Опять Сашка экономит топливо на котельной, подумалось незлобиво. Но все же освежился, чуть легче стало.

Из холодильника вытащил банку огурцов и литровую бутылку водки. Долго непонимающими глазами рассматривал замысловатую этикетку, то ли отечественную, то ли импортную. Наконец налил пузатую рюмку и выпил. Не почувствовал ни вкуса, ни запаха водки. От выпитого не полегчало.

Прилег на диван. В голове вертелась одна мысль: почему я? Почему моя семья? Почему в мирное время? Вот была война. За нее дорого заплатили. Она забрала отца, братьев. Горько, тяжело, но понятно. А сейчас за что? За какие грехи? Вроде никаких смертных грехов не имел. Все и всегда старался делать по совести, не вредил людям.

Разве что запустили сюда нефтяников, испохабивших всю землю? Но это черная колониальная сила, которая все сметает на своем пути. Нигде в мире эту черную силу не смогли обуздать. Нигде. Ни на одном континенте. Ни в прошлом, ни в настоящем. Тут вроде бы его вины нет. Разве что с ними ел, пил, кутежил-куролесил? Так по должности это надо было делать. И так-то белым вороном считался.

Разве что остяцкие боги могут призвать к ответу за истерзанные земли и оскверненные святые места?

Тоже вроде бы нет его прямой вины. Против нефтяного вала нет никаких сил бороться. На одной реке отстоишь священное остяцкое место, на другой отведешь землю — то буровую поставят, то вахтовый поселок, то промзону развернут. А там святое попадается.

Разве что доля его вины есть в уничтожении Знаменской церкви в этом селе? Старая церковь была, говорят, многие века назад поставлена, да обновлялась время от времени, в порядке содержалась до семнадцатого-то года. Еще до горбачевской перестройки как-то зимой Сашка письмо в район прислал: мол, разреши церковь раскатать на дрова. Сашка тогда директором здешнего хозяйства был. В тот год зима суровая выдалась. А он, дурак, село без дров оставил. И все бумаги слал: замерзаем, дров нет, отдайте церковь на благо народа.

Разрешил поднять руку на церковь. Правда, устно. Ну, Сашка мигом раскатал и спалил. Крестились тогда богобоязненные старушки: нехристи, да побойтесь Бога, покарает ведь. Сашка только похохатывал тогда: мол, нет Бога на земле, не вижу его, значит, нет Бога и на небесах.

Правда, много лет спустя Божья кара настигла его: на правой стороне лба у него рог вырос. Точнее, рожок. Вроде бы не беспокоит, но и ходить с рожком тоже неприлично. Врачи посоветовали ему ехать в Москву: мол, там прооперируют. А богомольные бабки пугают: мол, срежешь правый рог — так вырастет левый. Это Божья кара. Так Сашка и ходит с рожком. С годами и он присмирел: мол, порушил церковь из лучших побуждений. Ребяшня там любила лазить, могла сорваться с ярусов. Хотя все понимают, если бы его так одолевала забота о юных селянах, просто мог бы забить двери и окна древнего храма. Время такое было — все рушили, говаривал он. А теперь все хотите на одного меня повесить? Во всем Сашка виноват. Сносил-то он. Похо-

же, так и будет он до конца своих дней оправдываться за порушенную церковь, как и Горбачев, который по сей день оправдывается за порушенную по его воле Великую державу.

Кому эти оправдания нужны? Разве только для успокоения собственной совести.

Но с годами Иван Андреевич все острее стал ощущать свою вину за порушенную церковь. Перебился бы Сашка с дровами, выжило бы село, не перемерзло — не впервой, поди, такое случилось. Главное, в те годы он был крепким атеистом. Атеистом его начала делать октябрятская звездочка, продолжили пионерская и комсомольская организации, в рядах КПСС он уже стал воинствующим атеистом. Бога нет, а есть только Владимир Ильич Ленин. Он сильнее всех богов. И веру в Ильича сохранил до самого последнего дня. Ни разу не отрекался, не метался, не отказывался от своих убеждений. При этом с уважением относился к вере других людей. Каждый должен в кого-то или во что-то верить.

Правда, в последнее время все же сомнения у него появились. Дрогнул незыблемый Ильич. Многие от него отвернулись не без серьезных оснований. Кровавым все-таки оказался. За власть много голов порубили по его указке. Скоро, похоже, его вынесут из Мавзолея. Стало быть, есть Кто-то, Кто сильнее и могущественнее Ильича! Возможно, этот Кто-то живет на небесах. Как у язычников-остяков. Или в храмах, как у славян. Таким образом, выходит, Ильич не бог, хотя и боготворили его целых семьдесят лет. Но вот так, сразу отречься от него тоже невозможно — вся жизнь была посвящена ему. Ведь лучшие годы отданы ему. Детство, отрочество, юность... Разве одним махом все перечеркнешь?..

А вот можно ли разрушение церкви считать смертным грехом? Этого он не знал...

То ли наяву, то ли в полудреме роились у него в голове такие мысли. Он почти уже смирился со своей обреченностью, но для себя многое хотел прояснить. Рано

или поздно надо уходить, но надо сделать это осознанно, вспомнив и осмыслив свои земные дни на этой планете.

Его неспешно текущие мысли прервал телефон. Зазвонил на тумбочке у изголовья. Недовольно покосился на аппарат, но трубку не снял. Лениво подумал: опять Сашка, наверно. Телефон смолк, но, будто передохнув, через минуту-другую зазвонил снова. На сей раз требовательно, долго.

Он нехотя снял трубку, буркнул:

— Слушаю.

— Я хочу увидеться с вами, Иван Андреевич...

— Кто вы? — не понял он.

— Да Ирина это. Вы отправляли учиться меня в Питер.

— А-а,— сообразил он.— Так я завтра еще буду здесь. Приходи завтра.

Ирина помолчала, потом попросила с ноткой надежды:

— Днем я не смогу... Можно мне сегодня, а?.. Можно?..

Он уловил в ее голосе нотку мольбы. Помолчал. За окном темно. Посмотрел на часы. По-осеннему времени было не рано, но еще и не поздно, чтобы отказать. И, прибавив бодрости в голосе, спросил:

— Что у тебя — горит, что ли?

И она одним махом выдохнула:

— Горит...

— Ну, тогда приходи, жду.— И положил трубку.

Он встал, одернул на себе спортивный костюм, причесался, прибрал на столе. Готовился к встрече незваной гостьи. Даже не спросил, что она делает в селе посреди учебного года. Ладно, придет, расскажет. Она была одной из тех студенток, которых он отправлял учиться в Ленинград на Северный факультет и опекал до самого выпуска. Закончивших учебу он устраивал на работу в районе.

А Ирина нуждалась в особом внимании. Считай, выросла сиротой. Отец погиб на охоте. А у матери совсем,

мягко говоря, нескладно сложилась жизнь. Девочка росла у бабушки. У такой студентки с этими пресловутыми реформами, должно быть, прибавилось немало забот. Впрочем, сейчас у кого проблем стало меньше? Таковых, пожалуй, нет совсем. Особенно на селе.

Постучалась. Вошла. Он помог ей раздеться.

Села на стул против него.

И, чуть откинув назад голову с гладко причесанными черными волосами, одернув короткую юбчонку, остановила на нем широко распахнутые, влажно заблестевшие черные глаза. Смотрела так, будто этими очаровывающими огромными очами всего его вбирала в себя.

Он смущенно кашлянул, скользнув быстрым взглядом по ее стройной ладной фигурке под элегантным черным костюмчиком, из-под которого так и выпирали налившиеся сочной энергией груди, а внизу, чуть прикрытые юбчонкой, такие же сочные бедра, сказал с нескрываемым восхищением:

— Ох, а ты совсем красавицей стала, Ирина!

— А вы заметили это? — быстро спросила она.

— Да... разве слепой не заметит!

— А раньше замечали?

— Раньше?.. Да я тебя уже сто лет, кажется, не видел.

— Понятно, — грустно вздохнула она.

Оба замолчали. Возникла небольшая пауза. Потом он сказал, не отводя от нее замороженного взгляда:

— Правда хороша, правда. Ты напомнила мне лесную фею из сказки.

А у лесной феи: глаза — два бездонных озера. Можно в них утонуть. Волосы — нежные иглы кедрочей. Ресницы — опушка на вершинке молодой елочки. Тело — что у гладкоствольной пихты. Без трепета невозможно прикоснуться.

После паузы он спросил:

— Что будешь, Ирина, — чай, кофе?

Она взглянула на его початую бутылку водки и, чуть помедлив, сказала:

— Вина, если есть.

Он порылся в холодильнике и достал бутылку какого-то вина. Как понял по ее взгляду, не самого лучшего. Но наполнил ей бокал. А себе плеснул водки в пузатую рюмку, поднял, прикоснулся к бокалу девушки и с улыбкой сказал:

— Ну, за встречу, Ирина! Будем здоровы!

И опрокинул свою рюмку.

Она уточнила его тост:

— Будьте здоровы!

Она медленно пригубила и, не отводя от него влажно блестящих глаз, каким-то театральным жестом поставила бокал перед собой на стол.

Они молчали, через стол глядя друг на друга. Глаза в глаза. Женщина знала больше. В женщине больше тайны. Он знал это. Но сейчас в глубине ее огромных глаз он уловил мертвящую зыбь. Обычно так лесно-болотные озера к осени мелеют и, обрастая илом и травой, превращаются в топь, мертвеют без воды и, словно слепые, уже не радуются голубому небу, веселому солнцу, озорному ветерку. Эта мертвящая зыбь в очах девушки не на шутку встревожила его, оттеснив на время собственные проблемы с глухарем-шаманом. Почувствовав все это, он с напускной бодростью попросил девушку:

— Ну, рассказывай, Ирина, как ты там в столицах живешь-поживаешь.

Она грустно, одними глазами, улыбнулась ему и сказала:

— Я бросила институт.

— Бросила?! — удивленно переспросил он.

— Да.

— А причина?

Она помолчала, потом сказала:

— История длинная. Так сразу и не поймете.

— Начинай сначала. Авось в чем-нибудь разберусь.

Она снова помолчала. Потом тихо, опустив урманно-черные очи, начала рассказывать:

— В первый год все шло хорошо. В конце второго курса девчонки мне стали говорить: Ирина, ты вошла в тело. Ты просто красавицей стала. Вон как мужики на тебя заглядываются... Это значило, я могла зарабатывать деньги. Многие студентки это делали. Я не хотела и никуда не пошла. А потом, весной, перед самыми экзаменами, нужда все-таки заставила и я пошла на улицу...

— Да ты что! — закричал Иван Андреевич. — Тебе что, не хватало денег, что мы посылаем студентам?! Что, голодная была? Бездомная была? Раздетая-разутая была?! Говори!..

Она подняла на него свои озерные глаза, спокойно пояснила:

— Хватало. Хватало на баланду в дешевой столовке. На стоптанные туфли. На залежалые кофточки и курточки.

— Многие же так жили.

— Многие.

— А тебе что нужно было?

— Мне нужно было все самое лучшее. Все самого высокого класса. И получила это. Дорого себя отдала. У меня отлично пошел английский. Стала зарабатывать валюту. Хорошо зарабатывала. Если парфюмерия — то лучших фирм. Если духи — самые дорогие и сверхмодные. О тряпках и говорить нечего...

— Зачем это тебе? И так красивая.

Тут она потупила взор, опустила глаза, помолчала, потом тихо призналась:

— Влюбленная была. В одного. Единственного. Хотела, чтобы обратил внимание...

— А потом что было?

— Потом... поймала.

— Что?

— Самое неизлечимое. Смертельное.

Мгновение Иван Андреевич смотрел на нее обезумевшими глазами, потом вдохнул воздух и закричал:

— Что ты наделала, ду-ра?!

Еще раз широко раскрытым ртом хлебнул воздух и со стоном выдохнул:

— Что ты на-де-ла-ла-ла-ла!..

Слепо, почти на ощупь нашарил на столе свою литровую бутылку, забулькал в первую попавшуюся под руку кружку, и когда водка стала переливаться через край, поднял посудину и влил все содержимое в себя. Водка сегодня его не брала. Наоборот, голова еще больше прояснилась, а тело обрело необъяснимую упругость.

Посидел. Помолчал.

Она между тем тихо говорила:

— Когда узнала — наревелась вдоволь, потом успокоилась. Значит, судьба. Поехала к маме.

— Мама знает?

— Нет. Никто не знает. Все анонимно.

— Что будем делать?

— Принимать судьбу.

— Это в твоём-то возрасте?

— У судьбы нет возраста.

Замолчали оба. Вот и добралась чума двадцатого века до нашего народа, газетной строчкой отрешенно подумал он. До нашей глубинки. Надо готовиться к новым похоронам. Кто в деревне или в тайге начнет вылавливать вирусы? Размышляя об этом, спросил девушку совсем о другом:

— А твой-то... хоть знает об этом?

Она подняла на него свои огромные глаза-озера и, не мигая, не шелохнувшись ни единой ресничкой, безотрывно стала смотреть на него. И глаза ее все больше и больше наполнялись влажным блеском, и когда слезинки заблестели на ее веках, у него что-то оборвалось внутри. И он невольно, не осознавая, что делает, через стол потянулся к ней и губами начал ловить ее слезы, целуя то в левый, то в правый глаз. Потом взял ее голову в свои натруженные на охоте руки, большие пальцы прижал к ее вискам, легонько потер их, затем ладонями обеих рук осторожно, чтобы не смять прическу, охватил

ее голову и мягкими прикосновениями свободных пальцев поласкал ей затылок и шею. А она схватила кисти его рук и все время, как бы тоже лаская, слегка пожимала их. Ласкала и убеждалась каждое мгновение, что он здесь, рядом, никуда не ушел и уходить не собирается.

Она немного успокоилась и благодарно улыбнулась ему.

Они долго так сидели и молчали.

И смотрели друг на друга.

Потом, не отводя от нее глаз, он запустил обе пятерни в свою серую шевелюру и сказал:

— Смотри, Ирина: у меня же голова почти вся белая. И песок скоро посыплется...

Она улыбнулась ему одними глазами и сказала:

— Это случилось давно.

— Как давно?

— Когда новую школу у нас открывали. Вы там всякие хорошие слова говорили. Хорошо учиться просили. Я тогда в четвертом классе училась.

— Это сколько же лет прошло? — изумился он.

— Ровно десять лет.

— Да, тогда я был немного другим.

— Значит, можно было влюбиться?

— Наверное...

И он подумал о прошлом. Вообще, да, женщины обычно души в нем не чаяли, если узнавали поближе. Особенно когда в школе работал. Опытные дамы в нем сразу же распознавали неутомимого любовника: туловище было длиннее, чем ноги. Верный признак. С годами он тоже почти безошибочно стал разбираться в женщинах. Знал, кто хочет и может. Кто хочет, но не может. Кто не хочет и не может. Молодым же учительницам нравилась его домашняя уютность: всегда чисто и элегантно одетый, побритый и подстриженный, внимательный и доброжелательный, весь излучающий особое притягивающее тепло. Как всякий нормальный мужчина, не упускал возможности воспользоваться прелестями прекрасного пола. Доставалось и молодым учительницам.

Если особенно они засиживались, говоря по-деревенски, в телках. Как он не раз замечал, после этого они быстрее устраивали свою семейную жизнь.

Словом, прекрасный пол вниманием его не обходил. Но вот чтобы влюблялись школьницы или студентки — этого не припомнит. Стало быть, это в первый раз. Значит, и в последний.

— А я вам письма писала, — рассказывала девушка. — Еще в школе. Но не отправляла, конечно. А бабушка все сохранила в старом ранце с другими бумагами.

— Ох, да сколько же лет душа твоя ноет?! — поразился он.

— То ноет, то ликует, — улыбнулась она.

— Ликовать-то... это еще ничего.

Вот где мой грех, вот кого я погубил, подумал он, вспомнив про вещего глухаря-шамана. Вовремя не увидел, не понял, не почувствовал боль девушки. Зачерствела, заскорузла душа в повседневной чиновной суете. И пощады мне не будет, и, кроме меня, никто другой не пострадает. А впереди только одна ночь. Последняя. А потом разве что податься в самое глухоманное верховье, где не ступала нога человека. Вдвоем. На последние дни и ночи. Это смертельное замкнуть в себя. Вернее, в них, в двоих. Не выпустить в людей.

Так у самого порога в другую жизнь он опять невольно, по многолетней привычке, подумал о народе. И только теперь, поняв причину прихода глухаря-шамана, осознав себя единственным объектом этого древнего вещуна, он с легкой печалью ощутил облегчение. Стало все ясно: за что и зачем пришла к нему крылатая вестница, о чем хочет предупредить его заблаговременно. Чтобы он был готов и спокойно принимал то, что было предначертано ему судьбой. И сейчас птица неожиданно вызвала в нем теплое чувство благодарности.

Он встал, подошел к девушке сбоку, запрокинул ей голову и поцеловал в губы. Но она даже не шелохну-

лась. Была холодна, как январский лед. Тогда он опустил руки и накрыл ладонями ее груди, слегка сдавливая и шевеля, как бы оживляя, вдыхая им жизнь. Тут она чуть приоткрыла рот и издала короткое:

— Ах.

Тогда он повернул ее к себе, поставил на ноги и, прижавшись к ней всем телом, обхватил ее бедра широко разведенными пальцами и на мгновение замер, как бы решая, куда их двинуть дальше.

Тут, опомнившись, она сказала:

— Это — смертельно.

Она быстро, двумя руками, смутившись от своей минутной слабости, что позволила ему такую свободу, решительно отстранила его.

— Извините, — сказала она. — Я не за этим пришла.

Она поправила прическу, опустилась на стул и, волнуясь и чуть заикаясь, тихо заговорила:

— Я хотела... Чтобы вы знали... что вас любили. Любили. Я уйду, а вы об этом могли не узнать. Никогда. Это было бы... несправедливо. Правда ведь, правда?

— Да, правда. Я рад, я рад тебе.

— Да?!

— Да-да. И ты для меня совсем не опасна, — сказал он.

— Почему?!

— Я доживаю последние дни. Я тоже при смерти.

— Как... последние?! — У нее удивленно взметнулись брови.

— Да вот так получилось.

И он не спеша начал рассказывать про свой осенний отпуск, про давнюю мечту забраться в самые глухие верховья рек, про удачную охоту и про глухаря-шамана, который стал предвестником его собственной гибели. И про то, что он без суеты, без паники уже приготовился к тому, как закончить свои земные дни.

— Я знаю эту приметку, — сказала она. — Я же дочь охотника.

И у нее затрепетали ресницы.

Он взял ее руки в свои и, целуя ее согнутые пальцы, попросил:

— Только плакать не надо, Ирина.

— Что я могу сделать для вас? Что?!

— Одно ты можешь сделать.

— Что именно?!

— Ты возьмешь меня с собой.

— С собой?!

— Да, мы вместе уйдем.

— Вместе?

— Ты же меня одного не оставишь?

— Нет.

— Вот и хорошо. И я тебя не оставлю. Никому. Никогда.

Он говорил и целовал ее руки и ее глаза, чтобы остановить набегающие слезы. Теперь она не сопротивлялась, грустно кивая каждому его слову.

Потом он осторожно взял ее на руки, поднял ее, посадил на диван и прислонил ее голову к своей груди. И, лоя и осушая руками и губами каждую слезинку на ее лице, тихо говорил:

— Что же, видно, судьба. Я ведь давно должен был погибнуть, а все живу. Наверное, для того, чтобы вот с тобой встретиться в последний раз. Выжил, чтобы увидеть тебя.

— А что было? — спросила она.

— Это давно было.

— Как давно?

— В войну это было. Я еще в четвертом классе учился.

— Расскажите, — попросила она.

— Стоит ли?

— Я хочу знать.

— Хорошо.

— В нашей деревне, в войну все мальчишки учились и работали, — начал он рассказывать тихим голосом. — Зимой за каждым была прикреплена своя лошадка. У меня была Зорька. Когда стал четвероклассником, почти все

работы уже выполнял. Вот однажды председатель колхоза отправил отвезти почту в сторону верховья, до деревни Урай. Но ни еды на дорогу, ни корма для коня не дал. И мать, как бы предчувствуя беду, наказала: раз такое дело, сдай почту в Старой Силаве и возвращайся. До Урая не езд, это далеко, не одолеешь путь.

Так и сделал. Сдал почту в промежуточной деревне и поехал домой. А уже свечерело. И с вечера поднялась пурга. В лесу дорогу заметало медленно. И Зорька, лошадка, довольно бодро трусила в сторону дома. А перед деревней широкий-широкий сор. Километра на три. На этом сору, на открытом месте, перемело всю дорогу. Чем дальше — тем глубже снег. Зорька дотащи́лась до середины сора и встала. Тощая, голодная, выдохлась, выбилась из сил. Встала — и ни шагу. Сколько ни стегай, ни уговаривай — все без толку. Не слушается ямщика. Сам весь продрог, тоже измотался, пытаюсь сдвинуть лошадку с места. Что делать?

Прилег на сани. Все пуржит, все метет. Ночь. Одежка худая, холодно. До утра бы дотянуть. Лежу, вроде бы подремывать начал. А потом вдруг стало тепло. Тепло так стало, хорошо. Обрадовался, как здорово, что согрелся! А потом вот что вспомнил: человеку, перед тем как окоченеть на холоде, становится тепло. Не припомню уже, то ли кто рассказывал, то ли вычитал в книжке. И понял: мне конец. Шевелиться-то неохота. Встанешь — ветер-пурга тебя бьет, а тут тепло. Ничего тебе не надо, никаких забот. Так и задремлю, усну, а потом окоченею.

И так бы и окоченел, да про маму и сестренку вспомнил. Понял, что без меня они тоже погибнут, не выживут в войну. Я же все-таки кормилец и единственная в доме мужская опора. Соображаю: нужно что-то придумать. Должен быть выход, должен. Понятно, что пешком я не дойду — снег глубокий. И тут как бы озарило: может, думаю, Зорьку уговорю. Сани, конечно, не потянет. А вот попробовать без саней. А вдруг?! Решил: попробую.

С трудом заставил себя подняться, отряхнуться от обманчивого тепла. Встал, распряг Зорьку. Кое-как взобрался на нее и дернул недоуздок. Ну, милая, говорю, выручай. И она пошла. Медленно, осторожно нащупывая копытом твердую колею дороги, чтобы не оступить в снежно-болотную пучину. Так и добрались мы с Зорькой до дома в ночь-заполночь. Так я выжил, а мог бы погибнуть еще в четвертом классе...

А потом закончилась война, и я поехал учиться в Ленинград. И вот мама прислала письмо, написала: «Зорька, твоя спасительница, погибла — утопла на глазах всей деревни. Дело было так. Она паслась на берегу со спутанными ногами. А потом поплыла через реку на другой берег. Ноги-то спутанные, плыть неудобно. На самой середине реки обессилела и утонула. На берегу люди были, все видели, а спасти не сумели». И зачем ее понесло на другой берег? Что, там трава вкуснее? Не понимаю. Тоже, видно, судьба. Только лошадиная.

Он смолк. Но все продолжал поглаживать ее руки и щеки. Она больше не плакала.

— Я как сказку слушала,— сказала она.

— О, таких сказок знаешь сколько у меня накопилось за всю жизнь — не пересказать!

— Много?

— Много.

— Еще расскажите.

— Ты — моя последняя сказка.

— Сказка?

— Да, сейчас я эту сказку...

Он наклонился, поцеловал ее в губы и, полной грудью вдыхая неземной аромат духов, медленно расстегнул верхнюю пуговицу ее кофточки. Страшная и разрушительная сила тления еще не коснулась ее тела. А тело было не здешнего, не северного происхождения. То ли оливкового цвета, то ли диковинно-песочного, то ли закатно-облачного. На Гаваях, что ли, отдыхала, подумал он. Или в каких-то неведомых небесных далях.

Рядом с ней мог бы выдержать еще шесть десятков лет, но этому не суждено быть. Теперь она представлялась ему вселенной, очаровательной, таинственной и непознанной.

И все же хорошо заканчивать жизненные дни с любимым человеком, снова подумал он, а вслух сказал:

— Нам вдвоем везде будет хорошо.

— Я знаю,— ответила она.

— И мы будем счастливы.

— Я и так счастлива.

Он поцеловал ее грудь. И ему захотелось прикоснуться к каждой частице ее тела. Пусть хоть на мгновение она забудется и почувствует себя счастливой и поймет, что она любима, подумал он, с нарастающей страстью обнимая и целуя ее.

Когда он вошел во вселенную, она, прерывисто задышав, выдохнула слабым эхом:

— Аа-ахх...

И, будто на все оставшиеся земные дни, цепко обхватив его шею руками, всем телом прильнула к нему. И, теряя рассудок, теряя сознание, снова, чуть сильнее, выдохнула:

— Аа-ах...

А потом, уже более ритмично дыша, все с большею силою повторяла «аа-ах». И в полубессознательном состоянии защебетала-заворковала:

— Ахх, миленький...

Ахх, последненький...

Ахх, Ванненький мой...

А он молча под ее милый шепот-воркование летел в пропасть, падал в бездну. И испытывал головокружительно острую прелесть полета, вызванную близостью с красивой женщиной, смертельной опасностью для собственной жизни и с неожиданной силой вспыхнувшей в нем последней любви. Никогда прежде не испытывал такого остро-горького чувства любви. Ни одна женщина не доводила его до беспамятства. А теперь он

оказался между жизнью и смертью, в полете в бездну. Значит, в таком полете они оба избегают верной гибели. А полет все продолжается. Как и она, вскоре он тоже стал терять рассудок. И в глубине гаснущего сознания слабо мелькнула мысль, что судьба все-таки благосклонна к нему, если преподнесла ему эту сладко-гибельную концовку земных дней. И если бы все сородичи, оставшись без Отца и без Женщины-матери, так же счастливо и с таким же наслаждением покинули свою землю и канули в небытие, то можно не грешить на жизнь и позабыть все земные муки, простить новопришельцам все их грехи и обиды, нанесенные малому числом, но великому духом народу.

Оставайтесь, живите, пользуйтесь землей и всеми земными благами. Но вы никогда не испытаете этого блаженства последнего мгновения, преподнесенного мне судьбой. Полет в бездну — это вечный полет. На то она и бездна, что не имеет дна. Стало быть, мы не разобьемся, а, уйдя из этой жизни, вот так намертво обнявшись, прижавшись друг к другу, слившись воедино, превратившись в одно «я-мы», вечно будем летать в неземном пространстве и наслаждаться вечной и последней любовью. «Мне-нам» хорошо, и, кроме «меня-нас», никого не существует, и «мне-нам» ничего ни от кого не нужно...

— Аа-ах...

Под утро, когда зыбкий осенний рассвет неуверенно начал опускаться на землю, не выпуская друг друга из объятий, они уснули в вечном полете в бездну.

*Нижневартовск — Москва,  
9 мая 1998 года*

# НОЧЬ МАЭСТРО

*Рассказ*



- 
- А где Энн?  
— Скурвилась.  
— В каком смысле?  
— Во всех смыслах.  
— Когда?  
— Да вот...—Я развел руками. Точную дату, пожалуй, никто бы не назвал.

Маэстро, не снимая беретки, чуть опустив плечи, будто сверху надавили на них, сел за стол рядом со мной, с правой руки, на свое обычное место. Снял очки в тонкой металлической оправе, протер их платком, потом снова надел и пытливо взглянул на меня, спросил:

- Может, ошибка вышла?  
— Не-е...—я покачал головой.  
— Может, оговорили?  
— Не-е...  
— Почему так уверен?  
— У нее дружок объявился. В спецслужбах.  
— Ну?..  
— Его за что-то уволили оттуда.  
— Так...  
— А тут реформы начались, демократия. Вот у него язык и развязался. Мемуарный бум начался.  
— Да-да, теперь понятно. Значит, пасли...  
И мы оба замолчали.

Мы сидели в кафе в одной Северной Стране, за столиком у окна, на втором этаже. Почти прямо под нами пирс

с деревянными поручнями, покрытыми густой темно-коричневой пропиткой. Совсем рядом, казалось, в двух-трех саженьях, колыхалась вода задумчиво дремлющего фьорда. По нему изредка почти бесшумно проплывали небольшие белые суда с ватерлиниями, почему-то прочерченными черной краской. Напротив, в полутора-двух километрах вдоль фьорда тянулся высокий горный хребет с крутым, чуть выпуклым склоном, поросшим зеленым кустарником и лесом, у подножья омываемый водой. Если бы не эта высокая гора с каменистыми залысынами наверху, можно было подумать, что тут протекает Обь в среднем течении, в районе Сургута, и мы сидим у себя на родине, любуясь обскими водами.

Кафе было уютным и тихим. В глубине зала потрескивал огонь в камине, да бармен изредка звякал бокалами. В приглушенную музыку вплетался тихий говор немногочисленных ранних посетителей. Когда за столом молчишь, слышно, как вода колышется за окном да накатывает легкая волна на пирс после проплывшего мимо судна. Впрочем, к ночи жизнь во фьорде почти замирает до утра. Суда одиноко дремлют у полупустого причала.

Это было нашим любимым кафе. Когда я приезжал в эту страну, мы с Маэстро всегда встречались здесь. До сегодняшнего дня—всегда втроем. Мы с Маэстро и она—Энн, моя переводчица, помощница и секретарь. Вообще-то она была нашей соотечественницей, звали ее Анной. Но все наши зарубежные друзья называли ее Энн, и мы за границей привыкли к ее укороченному имени. Я не мог обходиться без нее, ибо мой круг общения был весьма широк—художники, писатели, бизнесмены, политики и так далее. Может быть, поэтому и на сей раз, полагая, что наша дама подойдет попозже, знакомый бармен поставил нам три пузатых коньячных бокала. Он знал наши вкусы.

Маэстро посмотрел на третий, лишний бокал и спросил:

— Ну, что, за упокой души?..

— За упокой так упокой...—согласился я.

Подумал: странно получается, тело живет, а душа вроде бы уже мертва. Все наоборот. И мы молча, не чокаясь, выпили. Помолчали. Потом Маэстро спросил:

— А ты не догадывался о ее втором лице?

— Нет. Хотя должен был.

— Почему?

— Знала иностранные языки.

— Ну и что?

— Всех, кто знал иностранный, по-моему, в те времена брали на учет.

— Да?

— И поэтому мог бы сообразить.

Впрочем, сейчас я все внимание переключил только на Маэстро. Сколько я знаю его, он никогда не пил. Если Россию считать пьющей страной, то он там единственный трезвенник. При встречах он весь вечер держал перед собой один бокал, из которого изредка пригублял. Символически. Как я понимаю, он просто не хотел убивать время на выпивку. Все свои мгновенья жизни отдавал двум делам: писал картины и ловил рыбу.

Он писал, а потом уходил на рыбалку. Будь то лето или зима. Ловилась рыба или не ловилась, все равно сидел с удочкой на озере или на реке. После возвращался домой и принимался за работу. Но наступало время — и снова шел в лес, на озеро или реку.

Жил он на Севере, в маленьком провинциальном городке, в старой хрущевке. В одной комнате поставил станок для печати графических работ. Тут же на стеллажах хранились картины в подрамниках. Большие полотна писал в актовом зале местного Дома культуры, ибо в квартире просто невозможно развернуть холст — не хватало места, не хватало стены. Там же, в подвалах, как в хранилищах, оставлял и свои новые работы. Мастерской не было.

Мы снова молча выпили. Он опустил свой бокал на столешницу, прижал его ножку указательными пальцами, осторожно поворачивал влево-вправо и, не называя имени, как об усопшем, спросил меня:

- Нравилась?...
- Да, скорее, нравилась.
- Так-так.
- Было стремление к познанию мира.
- Да, это знакомо.
- Точнее, любопытство.
- Понимаю.

Замолчали оба, призадумались.

Картины свои он продавал редко и неохотно, разве когда заставляла нужда. Скорее, раздаривал их. Предпочитал жизнь тихую, уединенную, незаметную. Без шума и суеты. И когда его «открыли» и заговорили о первой экспозиции, выставкóм охватила легкая оторопь. Ибо оказалось нелегким делом отобрать что-то для выставки из сотен равнозначных произведений. Все его вещи признали бесспорными. Тем более, как утверждали искусствоведы, у него не было периода ученичества. Он родился художником. Оказался живописцем с первого рисунка. И этот рисунок сохранился то ли с четвертого, то ли с пятого класса... Потом его картины потихоньку пошли «в народ». Вышел первый альбом. Правда, за рубежом. Был снят первый фильм. Но он не хотел ломать привычный уклад жизни. Все жил в своем маленьком городке, в своей тесной квартирке. И все так же избегал шумных сборищ, тяготясь вниманием толпы. Нельзя сказать, что совсем сторонился людей, но с малознакомыми почти не общался. И по-прежнему редко и неохотно выезжал из дома.

А потом его выставка приехала в эту Северную Страну. Хозяева увидели картины и сказали: вот вам тихий живописный городок, вот мастерская, живите и работайте. Без всяких условий. И он, подумав, согласился: попробую. Я понимаю его. Там, дома, Север и нет мастерской. А здесь тот же Север и есть мастерская. Отчего же не попробовать?.. Мастерская — мечта каждого художника. Дома, в маленьком городке, в глухомани вряд у него появится своя мастерская. Все зовут куда-то, но в места не тихие, а шумные, многолюдные, где не будет ни покоя, ни работы. Он любил Север и одиночество.

Мне припомнилось, что несколько лет назад французы пригласили его пожить и поработать на юге своей страны, во французском Средиземноморье. Поскольку они не могли добраться до его глухомани, переговоры вели через меня. Тогда Маэстро сказал: подумаю. На размышление было дано что-то около полугода времени. Но когда истек срок, он сказал: нет. Полагаю, что я правильно понял его: истинный северянин не особенно почитает юг. Хотя сама Франция должна интересоваться всякого нормального человека искусства.

Получилось так, что за границей его понимали и ценили больше, чем дома. В тысячу первый раз оправдывается истина: нет пророков в своем Отечестве. А что он пророк — в этом я никогда не сомневался.

Бармен принес нам новые бокалы. И мы так же молча, не чокаясь выпили. Маэстро спросил:

— Где она сейчас?

— Не знаю.

— Просто разбежались — и все?

— Да.

— И не знаешь, чем занимается?

— Возможно, своим привычным делом...

А я все думал о Маэстро.

Да, нет пророков в своем Отечестве... Там, дома, одни, замороженные его кистью, сразу же становились его поклонниками. Раз и навсегда. Считали явлением сверхъестественным, явлением божественным. Вторые молча смотрели на его работы и слушали восторженные отзывы первых. С сомнением, с оглядкой, и веря, и не веря. Третьих мало что интересовало, включая живопись и духовную жизнь... Власть же, особенно в советские времена, смотрела на него настороженно-выжидательно. Всякое необъяснимое явление вызывало тревогу. Как человек, внешне мягкий, скромный, даже застенчивый, он ничего ни от кого не требовал. Словом, вроде бы не беспокоил власть. Но вот работы!.. Работы были непонятными. Их можно было толковать по-разному. Каждый видел

их по-своему. Каждый находил в них свое, родное, близкое. Каждый подчас искал в них только то, что присуще ему, зрителю, что необходимо ему, в чем он особенно нуждался именно в это время, становясь, таким образом, как бы соавтором картины. И получалось — сколько зрителей, столько и картин. Его произведения не укладывались в привычные рамки. Вот это и тревожило власть. С явлением понятным всегда ясно, как управлять, как на него влиять. А вот как быть в этом случае?!

Мы взяли за свои бокалы. Маэстро спросил:

— Что сейчас Россия строит?

— Рынок.

— Это большой базар?

— Пока вроде того.

— Души человеческие продаются?

— Да.

— Умы наши только на вывоз?

— Да.

— А также девочки наши?

— Так.

Он сделал паузу, поднял на меня кроткие глаза, сказал:

— Ты молодой, тебя еще не раз продадут.

— Не хотелось бы.

— Будет больно.

— Наверно.

— Главное, как преодолеть боль...

Я понял, к чему он клонит. Ведь боль может уничтожить человека, если ее не победить. И поэтому согласно кивнул. И снова ушел мысленно в его прошлое. Он создавал свой таинственный и малопонятный мир. И создавал своеобразным способом. Помнится, там, дома, как-то мы с ним плавали по Югану, левому большому притоку Оби, где жили наши сородичи, обские угры, или остяки. Тогда он сделал сотни карандашных набросков. Легких, быстрых, сиюминутных. В основном людей. Точнее, характеры людей. Или, если хотите, судьбы людей. Потом, по прошествии многих дней и лет на основе этих набросков

рождались серии картин. Точнее, целые сериалы. О любви, о богах и богинях, о богатырях, о прошлом и будущем. Казалось, от первоначальных путевых штрихов там ничего не осталось. Но если внимательно приглядеться, можно отыскать корневые связи и с той рекой, и с теми людьми, и с тем народом. Здесь причудливо переплетались и реальная жизнь, и фантастические видения.

Так рождались новые образы.

Так создавался его мир.

Он мог из космической бесконечности взглянуть на травиночку, ласкающую чело Матери-земли. И травиночка оживала, преображалась и могла обрести черты и женщины, и богини, и народа.

Сейчас Маэстро размышлял о своем. Глянув на меня, в раздумье он сказал:

— Нас приучают привыкать к измене и предательству.

— Разве к этому можно привыкнуть?

— Нет, конечно.

— Что же делать?

— Каждый по-своему должен пережить это...

— Как?

— Вот знать бы!.. Впереди что-то нужно поискать...

Впереди пока только туман, подумал я. И снова вернулся мыслями к его работам.

Впрочем, изредка он писал и вполне реалистические портреты с натуры. Но потом, спустя какое-то время, мог добавить несколько мазков или вписать на первый взгляд совсем незначительную деталь — и человек неузнаваемо изменялся. Но и мог, как бы напрочь позабыв про картину, больше ни разу к ней не прикоснуться.

Сейчас, сидя в кафе над фьордом, я слушал его и припоминал первое прикосновение к его творениям. Одну картину можно было рассматривать очень долго. С разных точек. С разным настроением. В разное время года. В разное время суток. В разную погоду. И всегда находишь там что-то новое для себя. Утром — одно. Днем — другое. Позд-

ним вечером—третье. В солнечный день—радостное. В пасмурную непогоду—удивительное. И так бесконечно.

На одну картину можно смотреть бесконечно долго. И каждый раз делать новое открытие. Это привлекало к его вещам. Но в чем именно главная притягивающая сила его творчества—сказать, пожалуй, невозможно.

Помнится, с первой встречи меня поразило его всепонимание. Всепонимание и всеобъяснение всего, с чем он соприкасался. О работах своих коллег-художников он рассуждал примерно так: по-моему, автор хотел показать то-то и то-то. Изобразил это в меру своих возможностей. Нельзя сказать: это хорошо или плохо. Он таким видит мир. И это его право таким видеть мир. И это его право так изображать этот мир. И о своей работе он может судить только сам.

...Почти год назад в этом же кафе, на этом же месте мы сидели втроем, слушали музыку и тихо, почти вполголоса, переговаривались. Нам было уютно, хорошо. Потом Энн встала и пошла к стойке бара.

Я, проводив ее взглядом, сказал Маэстро:

— По-моему, она достойна вашей кисти.

— Всякая женщина достойна кисти,—ответил он.

— Мне кажется, тут что-то есть...

— Хм-м...

— И могла бы получиться картинка.

— Да?

— Вдохновляющая картинка...

— Тебе нужна картинка?

— Да, я бы не отказался.

Энн вернулась на свое место с пачкой сигарет. Глянув на нас, она весело спросила:

— О чем вы тут, ребята, без меня судачите?

— О тебе,—сказал я.—О ком же еще?

— Да ради бога,—беззаботно махнула она рукой.—  
Сколько угодно.

Она пододвинула к себе пепельницу и, задумчиво глядя на медленные воды за окном, с самым независимым видом свободного человека закурила сигарету.

Маэстро поднял на нее глаза. Как будто увидел впервые. Мы втроем уже встречались не раз, но, к моему удивлению, он не обращал на нее никакого внимания. Будто ее вообще не было с нами. Я этого не мог понять. Ладно, она не могла заинтересовать его как женщина. Но она должна бы зацепить его внимание как объект для искусства. Как натура. Черты ее лица весьма своеобразные. Точнее, самобытные. В ней, по всей видимости, смешалось несколько кровей—тут и Европа, и Север, и Россия. Во всяком случае, получилось что-то оригинальное. Но, по-видимому, было в ней еще что-то такое, что не позволяло Маэстро приблизиться к ней. Но это «что-то» я не улавливал своей притупившейся в богеме интуицией. Вернее, притупившимися чувствами. Впрочем, Маэстро всегда интересовала сущностная основа, а не внешняя оболочка.

Тогда он отвел глаза от Энн, понюхал свой бокал и спросил меня:

— Так нужна тебе картинка?

— Да.

— Ладно, отдай ее мне.— Он кивнул в сторону Энн.

— Пожалуйста,— сказал я.— Если она согласится.

Я пригубил из бокала. Энн тоже подняла бокал. Когда мы все выпили, я спросил Энн:

— Слыхала?

— Слыхала.

— Согласна?

Она поставила перед собой бокал, скрестила на столешнице сжатые в кулачки руки, медленно подняла черные длиннющие ресницы и впечатала строгий и долгий взгляд в мое лицо. Прошло несколько мгновений. Потом она, игриво дернув плечиком, улыбнулась и сказала:

— Конечно, согласна.

— Когда?

— Да хоть сейчас.

— Где?

— Да хоть здесь.

Маэстро сказал:

— Ладно, сейчас пойдём.

Мы молча допили коньяк. Маэстро встал. Энн тоже встала. Я продолжал сидеть на своем месте.

Маэстро сказал мне:

— Пошли. Не помешаешь.

И мы расплатились и вышли.

По пути мы еще куда-то зашли и немного перекусили.

В мастерской Маэстро указал мне на кресло и, спросив, что буду пить, поставил передо мной упаковку с пивом. Пиво было холодным. И первую бутылочку я выпил почти до дна. Взаяся за вторую. Меня уже клонило ко сну. Но еще видел, как Маэстро возился с мольбертом, потом отыскивал карандаши и блокноты. Он указал место для Энн. И я, засыпая, слышал, как та спрашивала:

— Как мне быть?

— Как тебе нравится.

— Ну, сесть или лечь?

— Как хочешь.

— Что мне делать?

— Что хочешь.

— Можно ничего не делать?

— Можно не делать.

— Снять?

— Ну... можешь показать все, что считаешь нужным.

— Все прелести?

— Если они есть.

Пауза. Потом снова ее голос:

— А говорить-то можно?

— Ну... Конечно. Рассказывайте что-нибудь или спрашивайте.

— Хорошо, у меня вопросов много.

Вскоре, пока они готовились к работе, я уснул. Сквозь сон улавливал какие-то отрывки фраз, шуршание бумаги или холста, ночные таинственные шорохи или вздохи.

Дело шло к полуночи. И я провалился как в пропасть.

Утром я проснулся очень рано. Через всю северную стеклянную стену мастерской новый день ровным, зыбким, как бы застенчивым светом осторожно входил в дом Маэстро. А он в окружении листов ватмана, беспорядочно разбросанных карандашей, тюбиков с красками сидел перед мольбертом на обшарпанном стульчике и, скрестив руки на коленях с блокнотом, опустив голову на грудь, как говорится, спал младенческим сном. Очки просто чудом держались на его лице.

А перед ним Энн в очень странной позе лежала на кушетке возле прозрачной стены, через которую в дом входило утро. Полусогнутые ноги и бедра «смотрели» внутрь дома, а туловище и голова были развернуты на север, в сторону, откуда шел свет. Все ее тело, и белые волосы на голове, обволакивались зыбким и призрачным, мягким утренним светом. Лежала она на той грани, где соприкасаются небеса с землей. И возникало впечатление, что вот сейчас, когда наступит день, она либо уйдет на небо, либо уйдет в землю. На этом месте ее не будет. Она растворится вместе с уходящей ночью. И улетит, и уйдет, и сгинет бесследно. Залитая застенчивым утренним светом, вся она казалась неземной. Только на интимном месте инородно темнела, как среди чистого болота, багульниковая кочечка да макушки вызывающе-дерзких грудей отсвечивали розовеющей морошкой.

Она тоже безмятежно спала. Время шло быстро. В утреннем свете появились оранжевые крапинки, потом они стали вытягиваться в линии. И спящая Энн начала обретать оттенки раннезрелой морошки.

Тут я понял, что это нужно видеть не мне, а художнику. И я тихо, чтобы никого не разбудить, открыл бутылку пива, выпил и снова заснул в своем кресле.

...С той ночи прошло более года.

И сейчас, сидя в кафе над водой, я все не решаюсь спросить, что же он натворил с тем материалом. Получилось ли что? Возможно, он целый год посвятил Энн и написал несколько серий на эту тему. Обычно, если

его захватывала какая-то идея или образ, то этому мог посвятить много дней и лет. И одна его героиня могла пройти по многим рекам и озерам, по многим селениям и народам, по прошлому и настоящему, по небу и земле, по людям и нашим языческим богам Югорского края.

Я прекрасно понимал, что наша прошлогодняя героиня, скурвившись, могла нанести ему просто сокрушительный удар. За год он мог наработать очень много. Человек он щепетильный... А могло и все обойтись: ведь недаром он с самого начала знакомства сторонился Энн. Это я навязал ее как образ для творчества.

Словом, я не спрашивал про это, а он молчал.

Так вот и сидим, коротаем время в любимом кафе.

Наконец я предложил:

— Ну, что, выпьем, что ли?

— Давай.

Мы одновременно посмотрели на ее бокал, прикрытый куском хлеба, и молча, не чокаясь, выпили. И замолчали. Задумались. Каждый о своем. А может быть, об одном и том же.

Нас связывало многое. Прежде всего Река. Большая сибирская Обь. Он родился на левобережном крупном притоке Салым, где начинались мощные кедрово-еловые урманы. Но там открыли большие месторождения нефти, и вскоре все перепахали, а потом это паханое-перепаханое вместе с реками и озерами стали заливать нефтью. И кончился Салым. И кончилась Земля Салымская. Возможно, поэтому, чтобы не видеть этот надрывающий сердце разбойный разор, который ничем невозможно ни объяснить, ни понять разумом, он перебрался в захолустный уральский городок и начал вести отшельнический образ жизни. И делал только одно — писал картины. И, словно из пепла, в его полотнах возрождалась его земля.

Моей же родиной было правобережье Оби. Моя река Аган впадает в Обь немного выше устья Салыма. Когда салымские урманы уже были спалены и обезображены, моя сторона еще оставалась чистой. Но потом и здесь от-

крыли нефть. И все повторилось один к одному. Я тоже уехал со своей реки. Писал книги и мотался по свету. Мою боль понемногу переводили на языки в других странах, куда потом я выезжал на презентации книг. Но во мне не было ни стержня, ни святости, присущих моему Маэстро. Я вел богемный образ жизни. Работал, мотался по кабакам и странам. Влюблялся и был любим, бывал отвергнут.

Устав от беспорядочной жизни, вконец измотавшись, я приезжал к Маэстро. Мы вместе смотрели его новые работы, ходили на рыбалку, пили чай. Я слушал Маэстро. Слушал. Слушал, не нарушая долгих пауз. Потом спрашивал. Потом снова слушал. Все шло неспешно, без суеты, без шума. Так я заряжался новой жизненной энергией. На два-три года. Может быть, на пять-шесть-семь лет. Очистившись от жизненной скверны, как бы заново родившись, снова начинал работать. Потом, со временем возвращался к богемному образу жизни и постепенно опять изматывался. И ощущал острую необходимость очищения. И в такие критические минуты, на грани истощения духовных и физических сил, разыскивал Маэстро. И ехал к нему. И слушал, слушал, пока не возвращался ко мне вкус к жизни...

Он мне все чаще и чаще напоминал Иисуса Христа.

Впрочем, к нему старались съездить многие. По разным причинам. Поэтому он и жил в захолустье, в отшельничестве. Не терпел суеты. Не терпел многословия. Но здесь, в зарубежье, его почти не беспокоили. Во всяком случае, не было той назойливости, с которой приставали к нему в России в последние годы.

Сейчас я смотрел на медленно катившиеся воды фьорда, так напоминающие обскую гладь в тихие вечера у костра на берегу, и вспоминал «картинки», как выражался Маэстро, прошлой жизни... Возможно, он тоже думал о прошлом. Может быть, погружившись в думы, он бродил по берегам Салыма, по сгинувшему в небытие Сивохребту, где он увидел белый свет.

Наконец он вернулся в кафе, увидел меня, чуть улыбнулся, наверное, только что промелькнувшим своим видениям, сказал:

— Ну, что, по глотку?

— Давайте.

И мы опять не чокаясь выпили.

Посидели, прислушиваясь к потрескиванию огня в камине, потом он спросил:

— Что в России?

— Как в 1917-м.

— Собственность растащили?

— Растащили.

— Новые русские?

— Новые. Но русскими, похоже, там и не пахнет.

В прессе мелькает пять-шесть имен.

— Нефтепромыслы разобрали?

— Разобрали.

— Что власть?

— Власть слаба. Идет борьба.

— Что интеллигенция?

— Как всегда: одни пашут, другие плачутся.

— Что народ?

— Молча наблюдает. Словом, народ безмолвствует.

Он тяжело вздохнул, откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы рук на затылке и крепко, до хруста в суставах, потянулся, выставив грудь вперед и отведя локти назад.

Потом покосился на бокалы, предложил:

— Так что, с горя, что ли?

— Радоваться особенно нечему.

И мы грустно подняли бокалы.

Услужливый бармен внимательно наблюдал за нами. И по первому же знаку подплыл степенно и наполнил наши бокалы.

Маэстро поднял на меня совершенно трезвые и всепонимающие глаза и медленно спросил:

— Ты веришь в возрождение России?

— Конечно,— сказал я.

— Когда она встанет на ноги?

— Через одно человеческое поколение.

— Когда это будет?

— Самое близкое— это к 2030-м годам. Конечно, может быть плюс-минус несколько лет.

— Я не доживу,— грустно сказал он.— Очень жаль.

Я, поворачивая голову, внимательно оглядел стены кафе и остановил взгляд на картине в добротной, красивой раме. В полумраке помещения само изображение на полотне было расплывчатым, но по обрамлению сразу чувствовалась рука настоящего художника. Не отводя глаз от картины, я твердо сказал:

— Доживете, Маэстро!.. Вы вечны...

Он перехватил мой взгляд на картину, все понял, улыбнулся одними глазами и сказал:

— Спасибо, друг мой!.. Но тело бrenно...

— Но дух!— воскликнул я.— Душа-то жива! Вон сколько вы душ сотворили!..

Мы оба помолчали.

— Я, может, тоже не доживу,— сказал я.— Но уверен, что Россия встанет на ноги.

Тогда он предложил:

— Давай за матушку Россию выпьем!

— Давай, пусть поднимается!

И мы выпили. За Россию. Французское вино, терпкое, но приятное. Хорошей выдержки. Кажется, из Бордо. Потому что после нуля часов здесь строго запрещалось подавать крепкие напитки. А шел уже первый час ночи. И у бармена мы попросили хорошего вина.

После этого тоста я поинтересовался:

— Какое тут отношение к России?

— Доброжелательное. Доброе.

— Это как-то ощущается?

— Я тут в городе один из России. Как бы единственный представитель во всех лицах. Русским называют, хоть я и остяк. Ну вот, чувствую это всей шкурой. И нутром тоже.

— Приятно, однако.  
— Да. Только вот зря мы пытались их учить.  
— Это вы про Запад?  
— Да.  
— Чему учить?  
— Как жить. Это совершенно бесполезное дело.  
— А что нужно было делать?  
— Обтесывать свою жизнь.  
— Имеете в виду страны?  
— Разумеется, страны. Пример — самый лучший учитель.

— Пожалуй, так, — согласился я.

— Вот картинка. Из России ли, из социализма или коммунизма. Из нашей стороны. Скажем, так: из разумно обустроенной жизни. Если понравилась, затронула душу — все, больше ничего не надо! Значит, мы понимаем друг друга. Значит, наши души сблизились. Значит, мы не пойдем рубить друг другу головы.

— Понимаю, — сказал я.

— А многие наши чиновники этого не понимают.

— Жаль, конечно.

— И нас не переделать по чужому образу и подобию. Какие мы есть, такими и будем идти по своему пути. Это тоже не могут понять многие их чиновники, пытавшиеся переделать нас по своим понятиям о нашей роли в истории человечества...

— Согласитесь, все-таки в жизни землян России уготована роль духовника...

— В этом сомнения нет.

— И наш Север в этом играет не последнюю роль.

— Разумеется. Чем дальше — тем большую роль.

Бармен два раза прошел мимо нашего стола. Шел уже второй час ночи. И он ненавязчиво намекал на то, что пора закругляться. Кафе работало до двух.

Мы выпили по последнему бокалу. За духовную основу своей страны и Севера. Попрощались с барменом и вышли на улицу.

Под черным пирсом тихо плескалась вода.

Белые ночи уже давно пошли на убыль. И было довольно темно там, где уличные фонари не горели.

— Пошли, домой, в Россию,— сказал Маэстро и от освещенного подъезда кафе сделал первый шаг в темноту.

— Куда? — изумился я.

— В Россию, домой,— повторил он.

И зашагал. Широко, быстро, как обычно ходил по тайге там, дома, в Сибири. Я направился за ним. Я понял, что после выпитых бокалов ему втемяшилось в голову вот в сию же пору добраться пешком до российской границы. А до нее топать-то ох сколько!

Городок был небольшой, но я ориентировался в нем плохо. На довольно узкой равнинке возле фьорда располагался центр, от него террасами высоко в гору уходили улицы с разноцветными, словно игрушечными, домиками. Днем на склоне преобладали теплые тона: кирпичный, красный, оранжевый, коричневый с различными оттенками. Смотрелось хорошо. Глаз радовался необычным формам строений и обилию цветов, как-то непостижимо грациозно связанных воедино, в одно целое.

Мастерская у Маэстро находилась где-то около середины горы, в конце улицы. Но сейчас, по-моему, он думал не о ней. Он же сказал, что идет в Россию. И я начал напоминать ему про мелкие житейские вещи, без которых не обойтись.

— А паспорт ваш где?

— При мне,— сказал он и хлопнул по левому нагрудному карману пиджачка.

— А виза?

— Тоже есть.

— Деньги потребуются на билет. Хотя бы внутри России.

— Немного есть. Хватит на билет.

— Ну, а вещи как же?

— Вещей у меня нет. Все при мне,— как бы проверяя, провел правой рукой по голове. Беретка на месте. Пиджачок и куртка — тоже.

Я помолчал, потом спросил:

— А картины?

— Оставлю им,— он чуть кивнул в сторону центра города.

— Все?

— Все.

— Хм... а не жаль?

— Нет. Новые картинки напишу. Дома. На своем Севере.

Все-таки мы шли в гору. Чем выше — тем медленнее. Потом взялись под руки — так легче идти, поддерживая друг друга. Шли-шли, а потом, кажется, совсем заплутали. Выбились из сил. Сами толком не могли понять, куда идем: то ли в Россию, то ли в мастерскую. Уперлись в какой-то тупик — в стену каменную. Кажется, это была часть скалы. Только обтесанная. Хода дальше нет. Правда, чуть позади, справа и слева, стоят игрушечно нарядные домики. Темные, без света. Значит, спят. Если бы это было в России, в таком же небольшом городке или селе, постучались бы в любой дом. В ночь-заполночь. Мол, заблудились, дорогу укажите или пустите до утра. Хозяин поворчал бы и открыл. Видя, что путники продрогли, чайком бы угостил. А потом выставил бы на стол поллитровку для сугрева. Сам бы рюмку принял. А после, поведав о своем житье-бытье, обняв незваных гостей как лучших друзей, до утра пел бы с ними задушевные русские песни.

А здесь такое не принято. Мы оба понимали, что это в лучшем случае назвали бы посягательством на частную собственность и личную жизнь. Со своим уставом в чужой монастырь не хотят.

Можно было вернуться в центр и там взять такси, да уже далеко ушли.

Маэстро сказал:

— Я, кажется, лишку принял.

- Что ж, был повод.
- Сначала за упокой.
- Зато закончили во здравие.
- Да, здравие — это хорошо.
- Дух немного укрепили.
- Да, укрепили, но вот сориентироваться не могу.
- Может, вернемся вниз — возьмем машину?
- Да уж нет сил. Давай немного отдохнем.

Мы сели у вечной каменной стены. Было довольно прохладно. И поэтому, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, укрылись одной курткой. Вроде бы чуть стало теплее. А чистый горный воздух подействовал на нас отрезвляюще.

Маэстро сказал:

— Скоро начнет светать — и я сориентируюсь, куда идти.

— Хорошо, подождем.

Оба замолчали. Но долгое молчание было тягостным. И я осторожно спросил:

— Что с прошлогодними набросками... Ну, ночными...

— Ни одной картинки не написал.

— Ну?! — воскликнул я и даже, кажется, вздрогнул от неожиданности. — Как так?!

— Руки не доходили.

Пауза. Потом я сказал:

— А может, рука не поднялась.

— Может, и рука, — сказал он.

Помолчал, потом добавил:

— Рука знает, что делать... Это человек не знает, как быть...

И мы разом засмеялись. С меня будто каменная глыба свалилась.

А Маэстро сказал с улыбкой:

— А вообще ночь была жуткая...

— Да?

— Она измучила меня.

— Ну?..

— Сделал сотни набросков. На ходу уснул...

— Уморила, значит.

— Точно. Но для себя многое открыл. Думал, все видел и знаю. Оказалось — нет. Ах, бедствия, а ведь хороша была!..

На этом он замолк. Дальше не стал распространяться.

Между тем стало светать. Мы поднялись на ноги. Маэстро начал оглядывать дома, улицы и фьорд сверху, с высоты нашей скалы. Потом сказал, что жить в этом городе больше не станет.

— Для художника здесь слишком хорошо. Так не должно быть. И зачем я только согласился поселиться здесь? — вслух размышлял он. — Затмение какое-то нашло. Ночь ударила в голову. Точнее, в душу. Так я полагаю, — вздохнул он. — Хорошо, что ты приехал — встряхнул меня. Задел за кровоточащее, но живое.

Я молча слушал.

— Все, возвращаюсь домой, — говорил он. — На свой Север. В Россию. Растаскиваемую, разоряемую, терзаемую, но — Россию! Я прав? — спросил он.

— Совершенно, — улыбнулся я.

И мы повернулись и от обросшей лишайником скалы-тупика направились вниз, туда, где можно было взять машину и, не теряя времени, пуститься в путь, ведущий к нашим исконным корням...

*Нижневартовск — Москва,  
14 мая 1998 года*

**РЕКА-В-ЯНВАРЕ,  
или В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО**

*Рассказ*



---

Река в январе была просто изящной...

Утром, стоя у отеля в ожидании автобуса, я почувствовал, что вдруг посветлело. Невольно повел глазами влево, потом вправо. И увидел ее. Девушку, тонкую, как тростиночка. Она была во всем светлом. И казалась совсем прозрачной. Сквозь нее как будто просвечивали воды Атлантики, накатывающие на песчаный пляж. И, возможно, посветлело от ее светлых одеяний. Вся она светлая. Светлый короткий костюм в редкую синюю крапинку. Светлые волосы. Белое лицо. Не тронутые загаром руки. Не тронутые загаром ноги. Впрочем, вся она показала мне еще не тронутую жизнью... Северянка, подумал я про нее.

Наш автобус запаздывал. И я вполглаза наблюдал за ней. Она сразу же уловила мой интерес. И взглянула на меня. Чуть дольше, чем обычно, задержала взгляд в моем направлении. Потом повернулась к океану, достала из сумочки солнцезащитные очки, надела их и не спеша стала ходить взад-вперед по площадке перед отелем, не вступая в разговор ни с кем из ожидавших автобус участников конференции. Точнее, не ходила, а будто плавно скользила по-над землей, почти не прикасаясь к мостовой. Настолько она была легка. Хотя солнце светило яркое, но очки, по-видимому, ей не очень были нужны. Когда я снова глянул в ее сторону, оправа с черными стеклами уже поднята на лоб, а сама она с высоко поднятой головой, словно птица перед взлетом, задум-

чиво смотрела в даль понадводную, в бурлящий в волнах океан.

Наконец подали автобус. Она села на одно сиденье впереди от меня, слева. Села, подвернув под себя правую ногу, вполоборота вправо, в мою сторону. Мы же с переводчицей Евой, костариканкой Беатрисой и норвежским саамом Лейфом заняли четыре кресла и сидели друг против друга. Через проход от нас устроились аргентинец Хорхе и гондурасец Рой. Позади них сидела Каори, бледная и молчаливая айна из японского Саппоро. Это наш, условно говоря, «малый круг» общения — представители коренных народов. Потом еще образовались «средний круг» и «большой круг».

Мои соседи на английском повели оживленную беседу. Говорили о конференции «Рио+5». На ней будет обсуждаться Хартия Земли. Речь идет о том, как нам всем выжить в двадцать первом веке. Потом заговорила Беатриса. Она была координатором костариканского Совета Земли, одного из организаторов этого форума. И сейчас кратко изложила то, что нам предстоит сделать за две недели работы.

Девушка-северянка в светлом с интересом прислушивалась к разговору.

Автобус петлял по серпантину шоссе по-над океаном. По скалам, местами нависавшим почти над водой. Минут через пятнадцать — двадцать подъехали к высотному отелю «Шератон». Выйдя из салона, мы тотчас же попали в разноязычно гудящий муравейник отеля и растворились в нем. И северянка в светлом куда-то исчезла.

Я увидел ее в перерыве. Мне надо было позвонить в Москву. А переговорный пункт с телефонами-автоматами находился за перегородкой, в углу зала, где располагался пресс-центр конференции. Проходя по пресс-центру, я заметил ее. Она сидела за столиком, в наушниках и что-то сосредоточенно печатала.

Несомненно, «Шератон» — лучший отель Рио-де-Жанейро. Вросший в скалы, он стоял на берегу небольшой

бухточки, где был пляж, над пляжем — бассейн, а вокруг бассейна амфитеатром в тени кокосовых пальм и тропических растений, под тентом-навесом, на открытом воздухе был развернут ресторан. Пообедав, я с чашкой кофе устроился возле бассейна за белым мраморным столиком, под тентом-грибком. Толпа разошлась по этому райскому уголку Рио. Кто пил кофе, кто загорал в кресле у воды, кто купался в океане или плескался в бассейне.

Синий океан. Голубое небо. Золотое солнце. Ласковый ветерок. Легкий шелест пальмовых листьев над головой. Глухие ровные вздохи океана.

Я смотрел на океан. Поразительно, никогда не устаете смотреть на живую бегущую воду. Особенно в океане или в море. Но и в реке, конечно.

Прислушиваясь к убаюкивающему шуму океана, я стал оглядывать округу бассейна. И тут увидел утреннюю попутчицу-северянку в светлом. Она шла к нашим столикам с чашкой кофе в руках. Видно, примеривалась, куда бы сесть. Я встал, помахал ей рукой. Она увидела меня, и на ее лице появилась вежливая американская улыбка.

— Привет! — сказал я.

— Привет! — снова улыбнулась она.

— Садитесь. — Я указал на свободное кресло за своим столиком.

— Спасибо, — сказала она.

Она поставила на стол чашку с кофе. Я пододвинул белое пластмассовое кресло, и она села.

— Какое впечатление от конференции?

— Приятное, — сказала она.

Мы немного помолчали. Потом я поинтересовался:

— Простите, вас...

— Селесте, — сказала она. — Меня зовут Селесте.

— Какая страна?

— Канада.

— Канада — большая страна...

— Эдмонтон, — сказала она. — Я из Эдмонта.

— О-о, Эдмонтон?..— удивился я.

— Вы знаете Эдмонтон?

— Да, я бывал там.

Вспомнил свою первую поездку в Канаду шесть лет назад. Тогда я в Эдмонтоне прожил целую неделю. Помню, меня там поразили две вещи. Во-первых, город мне показался очень маленьким. Весь центр—это несколько десятков высотных домов и отелей. Вокруг—прерии. Насколько хватает глаз, всюду чистые луга, местами небольшой кустарник и два-три дерева у берегов малых рек и одно-двухэтажные домики вдоль дорог. Где же живут шестьсот тысяч жителей города, столицы провинции Альберта, до сих пор для меня остается загадкой? Очевидно, в прериях, в небольших домиках по всей округе Эдмонта?..

Второе, что удивило меня, это самый большой в мире закрытый торговый центр. Подъезжаешь, ставишь машину в подземную стоянку, в лифте поднимаешься наверх. Попадаешь, условно говоря, на берег длинного, с извилами канала-водоема, наполненного морской прозрачной водой. Тут есть все. Тропический пляж с искусственным солнцем и искусственными же морскими волнами. Можешь загорать. Плавают дельфины. Медленно, как бы на ощупь, двигаются радиоуправляемые пластмассовые подводные лодки. У причалов на приколе стоят деревянные суда мореплавателей-конкистадоров, на которых они переплывали Атлантику, чтобы покорить американский континент. По обоим берегам, на разных уровнях, множество магазинов, кафе, ресторанов, саун, увеселительных заведений и т. д. и т. п.

Моим гидом там была Патриция, канадка финского происхождения. Она пояснила, что центр гордится тем, что здесь подводных лодок ровно вдвое больше, чем в канадской армии,—четыре. И военных-то секретов у них нет, подумал я тогда. Все знают обо всем. Потом я узнал, что семья, которой принадлежит этот торговый центр, начала строить точно такой же, но еще больший

по размерам во Флориде, в США. Когда они достроят флоридский центр, мы уже не будем самыми большими в мире, с сожалением сказала Патриция.

Сейчас я сидел с Селестой, и мы пили кофе и говорили про Эдмонтон и Канаду. Выяснилось, что она представляет журнал для читателей. Что-то вроде нашего «Книжного обозрения». И еще работает на какое-то информационное агентство. Освещает две темы: конференция, то есть жизнь человеческого сообщества в XXI веке, и книжные новинки разных континентов.

Мы допили кофе и, не прерывая беседы, направились в зал заседаний. Заканчивался обеденный перерыв.

На следующее утро, войдя в холл отеля, я опять почувствовал, что тут стало светлее, чем обычно. Вошел, огляделся. И в дальнем углу холла, на мягких кожаных креслах, в кругу журналистов, людей из прессы, увидел Селесте. Заметив меня, она встала и, улыбаясь, вся как-то светясь, помахала мне рукой. В ответ я тоже поднял руку. Сегодня она вся цветастая... в широкой и длинной, до пят, светлой цветастой юбке и в такой же светлой кофточке. Возможно, свет усиливался и от ее светлых одеяний. Я не стал подходить. Не хотелось прерывать ее оживленную беседу с коллегами.

Потом целый день она не попадалась мне на глаза.

Вечером был устроен прием. Нас долго, минут сорок, везли куда-то на автобусах. Наконец, приехали. То ли в пригород, то ли за город. Уже стемнело, плохо видно. Распахнутые ворота. Чистые дорожки-аллеи под фонарями. В глубине парка-сада трехэтажный особняк с колоннами в световой иллюминации. Под сенью тропических деревьев небольшая речка и пруд. Гости, разноязычно гомоня, весенним половодьем растекались по парку и первому этажу дома. По праздничной усадьбе без усталости носились официанты.

Селесте на вечере не было. Она появилась только к концу приема. Вся вечерняя. С высокой прической. В вечернем темно-красном платье. Узком, облегающем

талию и длинном до пят. Этот наряд делал ее еще более стройной и строго-неприступной. Правда, боковой разрез тянулся почти до пояса. Но он лишь тогда раскрывался, когда она делала большой шаг.

— О, вы сегодня вся коммунистическая,— сказал я шутливо.

— Почему?

— Красная.

— Мои родители любят коммунистическую Россию.

— Они русского происхождения?

— Нет. Просто любят Россию. Моей сестре они дали русское имя Нина. А вот мне не догадались...

— Вам надо съездить в Сан-Паулу.

— Зачем?

— Мне сказали: там есть русская община. Она занимается извозом.

На такси. Есть православная церковь.

— Русские в Бразилии? Любопытно!..

Мы с ней со ступенек дома спустились к речке и сели в кресла. Один официант подошел с бокалами на подносе, другой — с бутербродами. Мы чокнулись и выпили за процветание Реки-в-Январе. Именно так переводится с французского название города Рио-де-Жанейро.

У наших ног тихо струилась вода. Где-то в темноте плескались утки. Со стороны дома доносился приглушенный гомон толпы. Мы помолчали. Потом я спросил:

— Что так поздно, Селесте?

— Работы было много.

Я стал расспрашивать ее про работу.

— О, дел много,— сказала она.— Надо отслеживать ход самого форума, ходить на пресс-конференции, брать интервью у знаменитостей и политиков, составлять информации и передавать их в свою страну. Словом, забот хватает — не соскучишься.

Мы еще выпили вина. Вино было из очень хорошей коллекции.

Тут появилась моя переводчица Ева. Она была чешкой по национальности, знала несколько языков и неплохо переводила. Но, как я заметил, всегда некстати возникала в тот момент, когда меньше всего этого хотелось. И на сей раз пришла с вестью, что со мной хочет поговорить хозяин дома. Его интересует, как и многих других, Сибирь, Россия, положение наших народов — остяков и вогулов. Он ждет меня с супругой в доме, на первом этаже. Там есть комната приемов.

Я встал, извинился перед Селесте и вслед за переводчицей нехотя поплелся в дом.

На другой день я допоздна задержался в «Шератоне». Закончив все дела, я вышел на стоянку к автобусам, курсировавшим между отелями, где жили участники конференции. Нашел табличку с названием своего отеля «Эверест Рио» и поднялся в салон, где неожиданно столкнулся с Селесте. Я вопросительно посмотрел на нее. Она кивнула на место рядом с собой. Так мы вместе доехали до своего отеля в городском районе под названием Ипанема. Помог ей выйти из автобуса, взяв из ее рук сумку с тяжелым ноутбуком. В отеле, в баре возле холла, мы немного посидели и что-то выпили. Потом пошли поужинать «в город». В нескольких кварталах мы нашли довольно уютное кафе с негромкой музыкой. Сели у открытой стены, на веранде, и заказали ужин. Пока готовилась наши заказы, мы сидели и потихоньку тянули португальское вино.

Селесте интересовалась Сибирью, той землей, где я живу.

— Снега и льды, — сказал я. — Больше ничего. Лето, правда, короткое, но такое же жаркое, как в Рио. А мой дом представить себе очень просто. Надо сесть на пляже лицом к океану. Там у меня такой же белый-белый песок, как и здесь на пляже. Вместо Атлантики — синяя река. А за спиной вместо городских высоток — сосны, зеленый-зеленый бор. И в этих соснах, на крутояре, — мой дом.

— Получается, у вас не хуже, чем в Рио, — улыбнулась Селесте.

— Да,— согласился я.— Своя земля всегда лучше самого райского уголка.

Потом речь зашла о медведях.

— Они заглядывают к нам в окно,— сказал я.— Ничего не боятся.

— Не может быть,— засомневалась девушка.

Тут я вспомнил, как прошлым летом в наш зимний дом наведывалась медвежья семья. Медведица с двумя малышами. Они все очень любопытные. Малыши залезли на крышу и повредили покрытие кровли. А потом, видно, заглянули в окно — и там увидели свое отражение. И, вероятно, предположив, что кто-то там, внутри, дразнит их, бухнули лапами по своим двойникам и разбили стекло. Вот такие озорники попадают. О медведях можно рассказывать бесконечно долго.

Нам принесли вторые блюда. И мы на время замолкли. Когда уже перешли к кофе, Селесте спросила:

— А шаманы у вас есть?

— Конечно, есть.

— Расскажите про них.

— Это небезопасно. Я побаиваюсь этой темы.

— Почему?

— Вот что-нибудь подумаю или скажу — потом это вдруг сбудется. Наверное, случайно...

— Такое у вас уже бывало?

— Да. Но не всегда. Может, через два-три раза. Может, больше.

— Тогда не будем про это говорить,— согласилась девушка.

Звучала тихая музыка.

Со стороны улицы к нашему столику подходили местные коробейники, смуглые бразильцы, и ненавязчиво предлагали свой нехитрый товар. Сувениры, южные сладости и прочее. Выяснив, что мы не говорим по-португальски, оставляли нас в покое. Только перед цветами с тропических клумб мы не смогли устоять.

А вот бродячие музыканты, не спрашивая, устремив взоры на белую девушку, сразу начинали наигрывать свои мелодии. Тут уж мужскому полу надлежало раскошелиться и дать несколько риалов.

Я взял ее левую руку, лежавшую на столе. Тихонько, по одному, выпрямил ее полусогнутые пальцы и чуть наклонил голову над ее раскрытой ладонью. В хиромантии я ничего не понимал. В рисунке руки знал только одну линию — линию жизни. Ее линия была вполне утешительной и ясно просматривалась. Она вежливо полюбопытствовала:

— Что там видите?

— Линию жизни, — сказал я.

— И какая она?

— Вы проживете долгую жизнь, — сказал я и, чуть помолчав, добавил: — И счастливую.

— Спасибо, — сказала она.

После небольшой паузы я сказал:

— Возможно, в Сибири.

— Это мистика?.. — Она полувопросительно вскинула брови.

Мне показалось, что в ее глазах промелькнула тень тревоги. И я, засмеявшись, уверил ее:

— Это — шутка. Всего лишь шутка.

— В Сибири был... Ну, где политических наказывают... Читала вашего Солженицына...

— ГУЛАГ?

— Да.

— А теперь этого там нет.

— Видите, мы совсем плохо знаем Сибирь.

— Надо приехать, посмотреть.

Я предложил ей познакомиться с моим приятелем в Оттаве — он занимается различными сибирскими проектами. Так можно проторить дорожку в Сибирь. Я мог бы дать его координаты. Она согласно кивнула. И затем осторожно потянула свою руку. Я отпустил ее узкую кисть. Она посмотрела на темноту ночи и спросила:

— Уходим?

— Одну минуту...

Мы прожили еще один день марта. В Южном полушарии все наоборот—это летний месяц. А лето на атлантическом побережье прекрасное. Лето, обволакивающее тебя со всех сторон теплом, голубизной, зеленью и ароматами экзотической земли тропиков. Я поднял бокал и сказал:

— За Селесте-в-Марте!..

— Спасибо!..—улыбнулась она.

Мы выпили.

— Теперь осталось отметить только февраль,— сказала Селесте.— Это будет звучать примерно так: за Нас-в-Феврале!

— Почему в феврале?

Оказалось, что ежегодно в феврале устраивается самый грандиозный карнавал в Рио-де-Жанейро. На самбадроме под барабанный бой вся Бразилия двое суток подряд поет и танцует самбу. Разумеется, вместе с многочисленными гостями-туристами.

— Вот и встретимся через год на карнавале,— сказал я девушке.

Мы еще посидели немного. Потом, кивнув на прощание любезному официанту, по слабо освещенным улицам вышли на набережную. Вернее, к пляжу. И по пешеходной дорожке направились в сторону отеля.

Слева, через широкую полосу знаменитого на весь мир песчаного пляжа Кобакабана, по-ночному глухо что-то нашептывает океан, да через каждые сто—двести метров светятся открытой стойкой палатки, где продавались фрукты, легкие напитки и закуски для отдыхающих. Справа, по основной автотрассе вдоль побережья, этот участок называется авеню Визэйра Соуту, несетя многочисленная стая автомашин. За авеню, на неширокой равнине до самой горной гряды расположились отели и жилые кварталы Рио-де-Жанейро.

Мы шли не спеша, прогулочным шагом. И разговаривали тихо, как бы боясь потревожить нависшую над горо-

дом густую осязаемую тьму. Я вел ее за руку. И большим пальцем, как бы углубляя, поглаживал линию жизни на ее ладони. Теперь она не отнимала свою кисть. Может быть, ее завораживала и немного пугала южная ночь. Ночь здесь накатывала стремительно и была очень темна. Где нет фонарей — хоть глаз выколи, ничего не видно. И басовито вздыхающий океан, и индигово-темная ночь усиливали покров таинственности и ощущение непостижимости Седьмого Чуда Света — Рио-де-Жанейро. Совсем не случайно над городом возник тридцативосьмиметровый Христос с распростертыми объятиями, днем и ночью взирающий на все и вся с высоты горного пика.

Наконец добрались до своего отеля. Подошли к стойке, взяли ключи у портье. Немного постояли в холле. Я снова провел пальцем по ее линии жизни. У нее дрогнули ресницы. Мы посмотрели друг другу в глаза. Было поздно. И Селесте сказала:

— Я устала.

Я вызвал лифт. Мы распрощались — и она поехала на свой этаж.

На другой день я потерял ее из вида. Утром не пошел на автобус, а уехал на конференцию на такси. Возможно, тут и разминулись. Вечером телефон в ее номере не отвечал.

Вернувшись в отель, мы «узким кругом», мужской компанией, пошли на пляж и сели под тентом у палатки. И соломинкой тянули сок из кокоса. В жару прохладный кокосовый сок хорошо взбадривал. Продавец прямо при тебе одним ловким ударом ножа отсекал «попку» кокосу, затем переворачивал его и тоже одним взмахом отрезал «головку», вставлял туда соломинку — напиток готов. Ставишь кокос на стол — и потихоньку тянешь сок.

Я тянул сок и молча смотрел на Атлантику, на океан. И вполуха слушал рассказ аргентинца Хорхе о поездке в Лапландию.

— Северяне-саамы — веселые ребята, не то что мы, южане, — говорил он. — Они позвали меня в гости. А сами

тут же собрались на съезд кольских саамов, в Россию. И меня захватили с собой. Приехали мы в Мурманск, поселили всех в отеле, хорошо встретили гостей. В первый день они пели и плясали. Думаю, что они будут делать во второй день? На другой день они на руках ходили из одного женского номера в другой. Думаю, что они будут делать в третий день? В третий ходячие погрузили в автобус всех неходячих. И повезли домой, на норвежскую границу, в Киркенес. А вечером опять все пляшут и поют.

— Меня там не было,— сказал Лейф со смехом.— Но наши могут такое. Дома мы не пьем, потому что много работаем. А за границей можем. И пьем, и поем, и женщин любим.

Все засмеялись.

— Один раз я летал с нашей Скандинавской делегацией в Юго-Западную Азию,— продолжил Лейф.— Летели так долго и весело, что к концу полета капитан объявил, чтобы мы больше не требовали спиртного. Говорит, все спиртное, что было на борту, вы уже выпили. Говорит, извините, впервые такое случилось в истории авиакомпании.

Мы все помолчали. Кто пил вино, кто пиво, кто кокосовый сок.

Потом Лейф с испано-индейцем Роем придумали новое развлечение: стали «задирать» молодых дам, которые проходили мимо нашего столика, прогуливаясь по пешеходной дорожке. Реплики Лейфа на английском Рой тут же переводил на испанский или португальский. Порою шуточки были довольно фривольны. И реакция острых на язык южанок вызывала обычно всеобщий хохот.

Тут подошли к нам Беатриса, Каори, переводчица Ева и Мария из Сальвадора. «Наши тетушки»—так мы их называли за глаза. Возрастом среди них выделялась одна молоденькая Каори. Но она была настолько анемичной девицей, будто ей не девятнадцать-двадцать, а все сто лет. Поэтому вполне заслуживала звание «тетушки». Мы все

жили в одном отеле и часто вместе обедали и ужинали. Сейчас все вдруг вспомнили, что чуть ли не с первого дня все мы собирались сходить на дискотеку с традиционной музыкой. Про знаменитую бразильскую самбу все, конечно, слышали. Было еще не поздно. Тут кто-то напомнил про не менее популярную бразильскую кухню. Ведь мы вознамеривались посетить и рестораны «Шираскурии», где за один присест дают попробовать 16 сортов запеченного на углях мяса с коктейлем из тростниковой водки. Немного поспорили, но музыка взяла верх. Тут же выяснили, кто едет. Ева, Каори и Хорхе сразу же отказались. Остальные расселись по двум машинам и поехали.

Ехали довольно долго, минут тридцать — сорок, если не больше. Сначала по перегруженному авеню вдоль пляжа, затем свернули влево, в городские кварталы, потом ныряли то в один, то в другой туннель. Наконец, выехали на побережье. Дискотека оказалась на берегу небольшой бухты, прижатой к океану почти отвесными скалами. Вся равнина застроена домами. Но район оказался менее ухоженным, чем наша Ипанема.

При входе секьюрити проверяли всех на наличие холодного и огнестрельного оружия. Мы оказались невооруженными. Дискотека располагалась на втором этаже конусообразного приземистого здания. Видно, специально выстроенного для увеселительных заведений, для туристов. Мы поднялись наверх и заняли столик напротив подиума, у самой стены. Официант принес пиво и легкие напитки.

Музыканты, человек пять-шесть, вовсю давили на клавиши и струны, стучали в барабаны. Грохот стоял невообразимый. И толпа в едином движении, в едином зажигательном ритме колыхалась на площадке перед оркестром. Мелькали полуголые тела белых, черных, желтых, краснокожих. Казалось, весь мир собрался здесь и с упоением отплясывал свой последний танец.

Мужская половина нашей компании выпила и тоже растворилась в этой толпе танцующих. Мне показалось,

что рядовому туристу несложно уловить общий «рисунок» танца.

По соседству с нами белоликая девица с довольно пышными формами танцевала у своего столика, не выходя на площадку перед сценой. И очень хорошо показала нам бразильский танец. Надо встать, расслабиться, а потом так засучить ногами и руками, чтобы тряслась каждая клеточка твоего тела. Чтобы все тряслось, чтобы все было в едином порыве, как вздрагивает и взрывает авиалайнер перед самым взлетом на взлетной полосе. А в танце это мгновение вздрoga и взрeва нужно продлить и сохранить до самого последнего звука музыкального ритма.

Наши дамы-«тетушки» выдержали всего часа два. Затем уехали спать. Мы с Роем и Лейфом остались втроем. Мои друзья то исчезали, то снова появлялись за столом. Потом они привели двух девушек.

— Сейчас мы с девушками поедem в другое место,— сказал Лейф и повернулся ко мне.— Ты поедешь с нами, Джереми?

Так они называли меня на англо-французский манер. Я не успел ответить, ибо Рой вставил:

— Он, похоже, грустит по северянке.

— Он должен познать юг,— сказал Лейф.

— Я тоже так думаю,— согласился Рой.

— А где его северянка?— спросил Лейф.

— По-моему, она сегодня в подполье,— отвечал Рой.

— Она ведь журналистка?

— Да. Наверное, работает...

Мои подвыпившие друзья говорили так, будто меня здесь не было. И хотя их последние реплики приобретали многозначительный смысл, обижаться на них не стоило. Тут Лейф притянул к себе одну из девушек, чмокнул ее в щечку и сказал:

— Посмотри, какие у нас девушки, Джереми!

Я взглянул на мулаток. Они и вправду были хороши. Стройные, гибкие. С упругими формами. Их смуглая кожа отливала синевой.

— Ну как, решился? — спросил Лейф.

— Нет, — сказал я. — Не поеду.

— Ладно, мы поехали, — сказал Рой.

И они засобирались. Перед уходом Лейф поинтересовался, повернувшись ко мне:

— А ты найдешь дорогу домой?

— Конечно, — уверил я. — Не беспокойтесь.

И они укатили.

Я еще посидел немного. Потом выпил кружку пива и не спеша вышел на улицу. Над океаном висели пред-рассветные сумерки. Все вокруг было серым. Неуверенно наступало утро.

Взял такси и назвал свой отель «Эверест Рио» и район Ипанема. Водитель что-то сказал по-португальски, широко улыбнулся и покивал головой. Мол, понял, знаю. Ночные авеню были почти свободными. И через полчаса я домчался до отеля. «О бригада!» — сказал я водителю, что значило по-португальски «спасибо». «О бригада!» — заулыбался он. Для русских португальский и испанский языки считались для усвоения довольно легкими. Многие слова совпадали.

Был пятый час утра. На сон оставалось менее четырех часов. В номере было прохладно — работал кондиционер. Я лег в постель и тотчас же уснул.

Неделя пролетела незаметно.

Работа конференции шла своим чередом. Консультации, пресс-конференции, заседания секций, дискуссии за круглым столом, культурные программы, приемы и тому подобное. С Селесте мы теперь виделись почти каждый день. Бывало, во время кофе-брейка устраивались где-нибудь в уголке и тихо переговаривались. Если удавалось, вместе ходили на ужин. По вечерам она все так же допоздна работала. И телефон в ее номере редко откликался на звонки.

В воскресенье объявили экскурсии по Рио-де-Жанейро. Желающие записались еще в начале недели по трем группам. Одна едет на самый высокий пик к памятнику

Иисусу Христу. Другая побывает в Ботаническом саду. И третья ознакомится с фабрикой «Надежда» — жизнью бедных районов. Точнее, трущоб. Как живут богатые, я знал. А как бедные — нет. И поэтому решил посмотреть жизнь простого народа. Тем более что каждая страна старается всегда показать свое самое лучшее. И «народную жизнь» так просто не увидишь.

Воскресным утром я спустился в холл отеля, где был объявлен сбор участников экскурсии. Народ потихоньку собирался. Первой, конечно, я заметил Селесте. Сегодня она вся спортивная. Одета в светлые джинсы и в светлую рубашку с короткими рукавами. На лбу солнцезащитные очки. Она стояла у стены, скрестив руки на груди и, словно собираясь взлететь, легко покачиваясь на пружинящих подошвах белых кроссовок. С пяток — на носки. С носков — на пятки.

Мы поздоровались. И пошли в бар, где в ожидании автобуса выпили по чашке кофе.

Подождали автобусы, и мы поехали. Трущобы, конечно, были расположены не на пляжной зоне океана, а вдали от берега. И там стояла духота. А фабрикой «Надежда» оказался старый корпус какого-то предприятия. Там открыли мастерскую по ремонту бытовой техники и цех по изготовлению национальных сувениров. Так власти пытаются решить проблему с рабочими местами для аборигенов.

После осмотра фабрики нас по кривым, немощеным улочкам повели вглубь бедного квартала. Слева и справа одноэтажные, прилепившиеся друг к другу строения. Как их точнее назвать — не знаю. Дома? Лачуги? Хижины? Стена до пояса, затем до кровли пустое пространство, в лучшем случае задергиваемое занавеской. Крыши покрыты отчасти шифером, отчасти чем-то еще. Может, фанерой. Может, картоном или рубероидом. Очевидно, большой потребности в закрытых стенах не было, поскольку, как меня уверяли, зимняя температура здесь плюс двадцать, а летняя — до плюс тридцати. Но изредка

попадались и двухэтажные, недавно отстроенные домики с окнами и полными стенами. Наверное, это разбогатевшие представители народа.

Сопровождали нас юноши и девушки в зеленых униформах социальной службы города. Одновременно и охрана, и переводчики. Один мой новый знакомый рассказывал мне в ухо, что, когда во многих странах Латинской Америки стояла армия, при диктаторах, был полный порядок. А когда армию убрали, махровым цветом зацвели преступность, наркомания, проституция и тому подобное.

Значит, впервые задумался я, и диктатура может играть прогрессивную роль?.. Впрочем, при демократах в России случилось то же самое. Каждая страна сама должна решать, как ей быть. В каком направлении двигаться. Как преодолеть смутные годы своей истории. Кому — диктатура, кому — абсолютизм, кому — демократия...

Я заинтересовался строением без стены. Меня повела Лаура, девушка-француженка в зеленом. Она переговорила на португальском со смуглой хозяйкой. И тапустила нас в свою хижину. В первой комнатке — кухня. Стол, плита. Дальше — хлипкая перегородка с проемом для двери. Там вторая комнатка. В ней сидел старик, а на кушетке лежал мужчина средних лет. Они смотрели телевизор с небольшим экраном. На незваных гостей не обратили никакого внимания. Будто нас нет. Вся мебель и обстановка убогая. Как выяснилось, здесь проживает семья из семи или восьми человек.

Мы поблагодарили хозяйку и пошли дальше.

Впрочем, народ здесь хоть и бедный, но веселый, не падающий духом. Возможно, теплый климат и «парная» Атлантика повышают тонус. На пяточке, напминавшем площадь, под фонограмму толпа беззаботно отплясывала самбу. Поневоле приходит мысль: не хлебом единым жив человек.

Я оглянулся. Селесте шла последней. Ее облепили полуголые дети, человек десять. Девочки вели ее за

руки. Как, на каком языке они общались — мне неизвестно. Не думаю, чтобы в трущобах дети знали английский или французский. Впрочем, в искренней дружбе можно обойтись и без языка.

Наконец нас вывели к нашим автобусам.

Селесте села у окна. Дети махали ей руками. А когда автобус тронулся, еще некоторое время, провожая свою белолицую подругу, шли по пыльной обочине дороги.

До отеля мы ехали молча. Невольно вспомнилось, как на конференции видный российский эколог взывал к третьим странам: решите проблему народонаселения! Решите ее, никаких других проблем у нас не будет в двадцать первом веке. Но его сегодня с нами не было.

В отеле мы с Селесте зашли в бар. И заказали кока-колу со льдом. Здесь, на побережье океана, было намного свежее. И жара почти не чувствовалась. Особенно к вечеру. Хотя термометр каждый день показывает плюс тридцать. А в баре и подавно — кондиционеры исправно делали свое дело.

Селесте подняла на меня глаза, помолчала, потом спросила:

— Как в Рио начинается ваш день?

— Просыпаюсь очень рано. Иду на пляж. Смотрю на белого Христа на горе. Потом ныряю в океан.

— А день как заканчивается?

— Когда заканчиваю все дела, обычно поздно вечером, иду на берег. Смотрю в сторону белого Христа. И затем ныряю в темный океан.

— И так каждый день?

— Да, почти.

— И сегодня — тоже?

— Да.

— Я могу пойти сегодня с вами в океан?

— Конечно.

— Я буду дома.

— Я позвоню.

Мы посидели еще немного, потом разошлись по своим номерам.

Я позвонил Селесте в двенадцатом часу. Мы встретились в холле и пошли к океану, на Ипанема-бич. Так назывался участок пляжа напротив нашего квартала. В это время суток он почти пустой. Только светятся огнями палатки возле пешеходной дорожки, где за столиками, под грибками-тентами обычно сидят запоздалые туристы да завсегдатаи.

Мы повернули направо и двинулись к концу пляжа, к скалам. Там, словно языческие изваяния-боги, в океане, совсем близко к берегу, возвышались три скалы. Самая высокая — в середине. И две чуть поменьше — по бокам. Троица. Мы остановились напротив них. Сначала отыскиали на горе белого Христа. Ночью он освещался мощными прожекторами и желтоватым оттенком светился в темноте распростертыми объятиями. Мы молча постояли. Потом повернулись к океану.

Океан басовито вздыхал. Казалось, он что-то пытался нам сказать. Но мы его не понимали. И он это чувствовал и, сердясь, обиженно рокотал каждым девятым валом.

Прислушиваясь к голосу океана, Селесте в коротком светлом халатике задумчиво застыла у волнореза. Вся она таинственно-ночная. На ней сходились, причудливо переплетаясь, демонически играя, схлестнувшись в непримиримой вечной борьбе, индиго-темная тьма с океана и отблески света с прибрежной авеню.

Потом, словно очнувшись ото сна, она подняла голову, повернулась ко мне, сказала:

— Пора нырять!..

Я скинул футболку. Вошел в теплую приятную воду и нырнул под накатывающую волну. Вынырнув, медленно поплыл к скалам. Потом от них повернул обратно. Почувствовав песчаное дно, встал, глянул на берег. Селесте, освещенная бледными отблесками далеких пляжных фонарей, все стояла в той же позе, в какой была, когда я входил в океан.

Я помахал ей рукой: мол, океан ждет тебя, плыви сюда. Говорить не стал. Слов все равно не слышно из-за шума волн. Опять нырнул. И продержался под водой сколько мог.

Вынырнув, снова поплыл к скалам. И тут почувствовал на плечах руки Селесте. Она плыла, держась за мои плечи. И мы вместе плыли и преодолевали встречный напор волн. И, казалось, побеждали океан. Потом я повернулся к ней. И тут накатившая волна ударила меня в спину, и мы стукнулись лбами. Она засмеялась. Вторая волна накрыла нас с головой. И мы ушли под воду. И под водой я почувствовал сладко-солончатый привкус ее губ. Кислород заканчивался. И, обхватив ее за туловище, я заработал ногами и стал тянуть ее на поверхность. Вынырнули, хлебнули воздуха. Мои руки отметили, что она была без верха. Ничего удивительного — на западе это принято. Помнится, весной, в Осло на зеленой травке в парке возле королевского Дворца девушки загорают без верха...

Новая волна опять захлестнула нас. Теперь я обхватил ее за талию и вытолкнул из воды. Руки на сей раз мне сказали, что она и без низа. Она была такой же обнаженной, естественной, природной, как и океан. И в этом естестве была ее прелесть. Вынырнув, мы хватали воздух и делали несколько гребков в сторону берега, а потом, крепко обнявшись, снова уходили под набегающую волну, под воду. Под водой нам было хорошо. Я всем телом ощутил, как она остро-жгучей огненной струей входит в меня. И было мучительно больно и легко. А океан ласково все подталкивал нас к берегу. Вверх — вниз. Вниз — вверх. Мы потеряли ощущение времени. И не знали, сколь долго продолжалась игра с океаном.

Наконец мы оказались на берегу. В своем природном естестве мы лежали на мягком сыпучем песке, а набегающие волны теплом согревали наши ноги. Как теплым пуховым одеянием накрыла нас низко нависшая небес-

ная тьма южной ночи. А океан все нашептывал и нашептывал какие-то прекрасные и упоительные слова. И пред этой вечностью небесного и океано-земного мы сами ощутили себя вечными и непреходящими.

Время остановилось, и оно больше не существовало для нас. И кроме нас, во всей Вселенной никого не было.

Когда над океаном забрезжил неуверенный серый рассвет, Селесте повернулась ко мне и сказала:

— Мы как песчинки в океане...

— Нет, не песчинки,— возразил я.

— Камешки?

— Нет.

— Камни?

— Нет.

— Может, скалы? Глыбы?

— Это уже ближе к истине,— согласился я.

Она помолчала. Потом сказала:

— Но ведь и скалы превращаются в песчинки.

— Да,— сказал я.— Но потом из песчинок рождаются скалы...

— Пожалуй, это мне больше нравится,— сказала она.

— Мне — тоже,— улыбнулся я.

Наступающий рассвет безжалостно возвращал нас к земной реальности. Точнее, к рио-де-жанейровской.

Последняя неделя конференции пролетела как один день. Впрочем, все официальные дела у меня отошли как бы на второй план. Хотя событий было много. На вертолете прилетел президент Бразилии. Сначала он сам выступил. Потом — его супруга.

На пару дней заехал и Михаил Горбачев с Раисой Максимовной. Здесь он был так же популярен, как и прежде. Местные секьюрити, взявшись за руки и выстроившись клинышком, ловко и быстро выводили его из любой толпы. Им отвели апартаменты в «Шератоне».

С ними произошел забавный случай. Рой поехал зачем-то на двадцать шестой этаж. И оказался в одном

лифте с четой Горбачевых. И лифт застрял между этажами. Ждали вызволения минут пять-шесть.

Рой с южным темпераментом рассказывал нам и в лицах изображал, кто и как реагировал на вынужденное заточение. Сам Горбачев был спокоен. Немногочисленная свита и телохранитель — обеспокоены. Но больше всех волновалась Раиса Максимовна. Заламывая руки, она ходила из угла в угол довольно просторного лифта и все время что-то говорила и требовала.

Наверное, вернувшись в Тегусигальпу, Рой до конца жизни будет вспоминать эту историю с четой Горбачевых.

Рио-де-жанейровская жизнь текла своим чередом. В наш «средний круг» общения иногда залетала «экзотическая птичка», новозеландка Ароха. Рой пялил на нее глаза, а потом спрашивал меня: «Как находишь: Ароха красивая?» Поскольку о красоте у каждого свое представление, сначала я неопределенно пожимал плечами. А потом, чтобы он отстал от меня, отвечал: «Писаная красавица! Рисованная красавица!» Рой удовлетворенно хмыкал и уходил от меня. По-моему, он готов был пуститься за ней в Новую Зеландию и пасти ее стада овец.

Но чаще всех в нашем «среднем круге» появлялась австралийка Дона. Энергия в ней так и бурлила. При этом идеи возникали спонтанно. Каждую секунду. Куда-то поехать. Что-то посмотреть. С кем-то встретиться. Кого-то пригласить. И она тотчас же бралась за осуществление своей идеи. Ее деловому напору трудно было противостоять. Она брала всех, кого считала нужным. Только про переводчицу Еву все время забывала. И, по-моему, ту охватывал почти ужас, когда появлялась Дона. Потому что Дона ломала все наши планы.

В «большом круге» общения было спокойнее. Тут солидные политики, экологи, политологи, общественные деятели и ученые. Все заранее расписано, определено. Правда, в последние дни, возможно, я стал немного рассеянным. Однажды попал впросак. На

восьмом этаже «Шератона», в своем офисе один из руководителей форума — Израэль — устроил небольшой прием. Он собирался посетить нашу Сибирь и Дальний Восток. И конечно, интересовался многим — что и как там. Я сказал, что проблем нет. Только вот расписание рейсов там надо заранее уточнять. Не везде и не регулярно летают самолеты на нашем Севере. Он улыбнулся моей наивности: мол, не беспокойтесь, я полечу на своем самолете.

Чем дальше, тем время текло быстрее. Теперь по утрам с Селесте мы вместе уезжали в «Шератон», но вечером возвращались в разное время. И обычно созванивались. И шли куда-нибудь поужинать. Хотя свободного времени у нее по-прежнему почти не было. Все намеревались посетить Национальный музей изящных искусств. Но так и не собрались.

Наступило субботнее утро, утро моего отъезда. Я улетал через Лондон в Москву. А Селесте оставалась еще на сутки. Ее рейс выполнялся до Чикаго. Там у нее пересадка на самолет до Эдмонта. Мы условились, что на следующее утро я позвоню ей из России по поводу сибирских проектов в Оттаве.

В последний раз окинув взглядом номер, я с упакованной дорожной сумкой поехал вниз. Тут уже собрались все улетающие с конференции через Лондон: Европа, Азия, частично Северная Африка. Отель глухо гудел, как накатывающаяся на берег океанская волна.

Селесте спустилась в холл и своей легкой походкой, почти не касаясь пола, направилась ко мне. Остановилась передо мной. И мы молча посмотрели друг на друга. Мне показалось, что гудящий отель на мгновение притих. Во всяком случае, наш «малый круг» с интересом и любопытством устремил на нас свой взор. Я молча взял Селесте за плечи, притянул к себе, поцеловал и, взяв сумку, вышел из отеля.

До Лондона летели долго, часов одиннадцать. В аэробусе конференция продолжилась. Разумеется, уже не-

официально. Народ не скучал. Один континент прощался с другим. Одна страна — с другой. Я признателен был своим за то, что никто ко мне не приставал. Было грустно. Перед глазами стояли различные картинки Рио-де-Жанейро. Но больше — с Селесте.

На следующее утро после прилета в Москву я позвонил Селесте. Слышимость была прекрасной. Передал ей телефон и факс моего оттавского приятеля. Потом спросил:

— Как Река-в-Январе?

— Ждет тебя!.. — сказала она.

Мы попрощались. И я молча дожидался, когда она положит трубку.

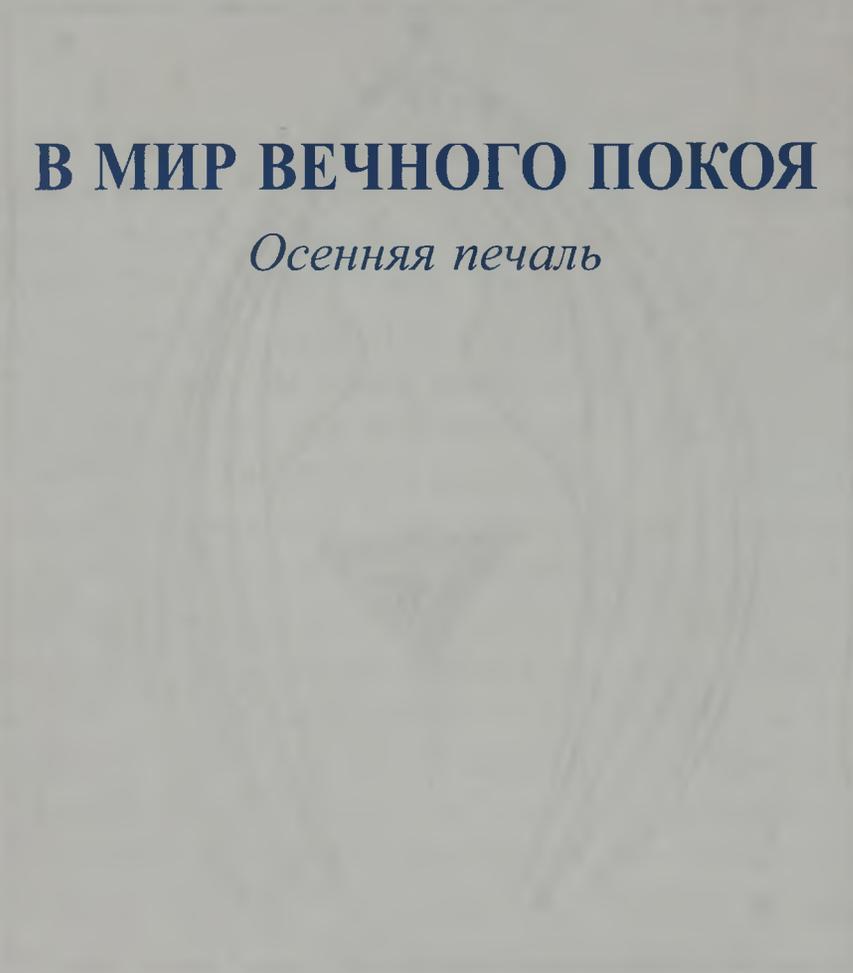
Через год от нее пришло письмо. Письмо заканчивалось припиской: «У меня родилась двойня. Два мальчика. Какое это счастье!..»

И вправду, каждая буквочка ее письма дышала счастьем.

*Москва — Нижневартонск,  
1997—2000*

# **В МИР ВЕЧНОГО ПОКОЯ**

*Осенняя печаль*





---

Ушла в мир вечного покоя моя первая тайна...

Когда я впервые увидел тебя — сразу молнией ударила мысль: «Моя!» Я открыл дверь и увидел тебя с двумя подругами. Вы сидели у окна. Ты привстала и, улыбаясь, сказала, что ждете меня. Так мы познакомились. И хотя ты выглядела совсем юной девушкой, но уже была не свободна. Впрочем, все красивые рано теряют свободу. Это, конечно, меня немного огорчило. Но я знал, что ты все равно будешь моей. Рано или поздно. По-моему, ты тоже тогда почувствовала неотвратимость этого. Поняла неотвратимость любви, неотвратимость судьбы.

И мы стали вместе заниматься научными исследованиями. Работали весело, легко, с увлечением. Ты бывала в моем городе нечастыми наездами. В твои приезды, немного побыв в городе, мы почти всегда уезжали в сельские глубинки на полевые изыскания, «в народ». Я ждал тебя. Ждал с нетерпением. Мы встречались. И тихо радовались каждой встрече, дарованной судьбой.

Шли дни, месяцы, годы. Но я не особенно торопил время. Размышлял о том, что еще вся жизнь впереди. И все равно ты будешь моей.

В ту осень с тобой поехали на моторной лодке в верховье таежной реки. Ехали долго. В пути нас застало ненастье. Дул сильный ветер. То с холодным дождем, то со снегом. Тяжелые тучи почти задевали верхушки деревьев по левому и правому берегу. И когда наконец мы добрались до усадьбы моих родичей, то совсем продрогли.

Вечерело. Ранние осенние сумерки начали сползать на землю по ветвям деревьев.

Мы быстро выгрузились из шлюпки и, чтобы согреться после пронизывающей сырости реки, первым делом затопили крохотную баньку, стоявшую в соснах за жилым домом, на берегу ручья. Пока ты отогревалась в бане, я вскипятил чай и приготовил еду. Потом, наскоро поужинав, легли спать. Летний дом был довольно просторным. И железная печурка в осеннее ненастье не могла сразу прогреть его. Было прохладно. Поэтому мы развернули постели посреди широких нар и легли рядом, чтобы согрывать друг друга своим теплом. Утомленный ненастной дорогой, я сразу же уснул, как только моя голова прикоснулась к подушке.

Проснулся тоже как-то неожиданно, вдруг. Открыл глаза и в сочившемся из двух окон зыбком сумеречном свете раннего утра увидел твое лицо. Точнее, твои глаза. Точнее, твой чистый и внимательный взгляд. На твоём лице не было ни следочка сна, словно ты и вовсе не спала, а всю ночь, во тьме, вот так пролежала с открытыми очами. На мгновение, как мне показалось, я окунулся в глубину твоих глаз. А может быть, я навечно остался в их ясной бездне. И, возможно, из этой бездны вытянул руки. И мы разом прильнули друг к другу. И в первый раз я почувствовал вкус твоих губ. Потом моя рука нашла молнию твоего спальника, и спальный мешок стал расползаться, превращаясь в одеяло. И ты обдала меня жаром своего прекрасного тела. И, почти задохнувшись, я потерял ощущение времени и пространства...

После, придя в себя, я осторожно повернулся на спину и долго смотрел в потолочное окно. Бледный, ровный и по-осеннему мягкий рассвет тихонько, словно боясь спугнуть нас, вползал в дом. Твоя голова лежала на моем плече, а кончики твоих каштановых волос, будто лаская, щекотали мою голую шею. Твои волосы всегда были какими-то вольными, независимыми. Ты их просто расчесывала, и они, прикрывая плечи, блестящим коричнева-

тым щитом оберегали твое лицо со спины и с боков. Эта твоя прическа больше всего нравилась мне. Впрочем, все мне нравилось в тебе. С первого взгляда, с первого мгновения, как увидел тебя. Ты блистала классической красотой. В чертах твоего лица, в цвете глаз и волос, в жестах, в манере речи, в походке, в мироощущении много было от очаровательных муз девятнадцатого века, от эпохи Пушкина. Но те были далеко, за пределами почти двух столетий. А ты рядом. Ты могла спалить жаром своей души и своего тела. Ты была, конечно, лучше. С тобой им, конечно, не сравниться. Ни в чем. Ни в красоте, ни в любви. Сейчас впервые я узнал, как может любить любящая женщина. Беззаветно, безрассудно, безоглядно, безумно. Ты без слов мне сказала, что ты вся, каждой частицей своей принадлежишь мне. И поэтому душа моя горела. Душа моя полыхала. Мне было жарко. Жар распирал мое тело. Но мне было хорошо лежать рядом с тобой. Тело к телу. Голова к голове. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно.

Потом я вышел на улицу. И поразился тому, что увидел. Все вокруг было белым-бело. Выпал первый снег. Вчерашний ветер ночью стих. И в ушах стояла звенящая тишина. Казалось, весь мир надолго замер и прислушивался к тишине. Слушали тишину молодые сосны в снегу, дома в снегу, земля в снегу и низкое осеннее небо.

Наша шлюпка тоже была в снегу. Берега тоже белые, в снегу. Только вода в реке вилась черной струей. Вода струилась, серебристо и чисто звенела, словно напевала мне тихую песню о тебе. А мне было жарко. И жар, как вода реки, струясь, уходил в дремлющий под снегом соняк, в небо, в свежевывавший снег. Но от этого ощущение счастья у меня не убывало. Наверное, нечто подобное испытывал библейский первочеловек Адам после сотворения Евы...

Я еще немного постоял у причала, прислушиваясь к музыке воды, затем с прежним жаром в душе вернулся в дом.

Почти рассвело. Наступал первый осенний день моего нового периода жизни. Будто я заново родился. И все начиналось с чистого листа, с первоснежья. В доме я сказал тебе:

— Зима пришла.

— Зима нашей жизни...— сказала ты своим певучим, похожим на звучащую музыку голосом.

— Весна нашей жизни,— сказал я.

— Пусть будет весна...— согласилась ты.

Мы отшельниками жили в усадьбе. С утра работали, каждый занимался своим делом, а после полудня обычно навещали соседей на моторке, ездили вверх и или вниз по реке. Вечером возвращались домой. Топили печку, ужинали. Слушали тишину и вели неторопливые разговоры.

Мне совсем не хотелось уезжать отсюда. Если бы можно было, жил тут с тобой, никуда и никогда не выезжая. Но жизнь ставила свои условия. И мы вскоре вернулись в деревню. В деревне жили в отдельном домике. По утрам я рано просыпался. Шел на кухню, садился за стол у окна и, наблюдая за тихим сумеречным рассветом, пил кофе. Потом выходила на кухню ты. В голубой спортивной форме, обтягивающей твою ладную фигуру. Всегда с ясным взором, с чистым лицом, будто вовсе не спала. И мы вместе смотрели за таинственно тающими утренними сумерками. Это были лучшие часы наших встреч. Впрочем, все мгновения с тобой казались прекрасными в моей жизни.

Через несколько дней мы выбрались в ближайший город. Там расстались. Ты полетела в свой, я — в свой.

И начался эпистолярный период в нашей жизни. Я писал тебе почти каждый день. Ты мне отвечала. Конечно, не ежедневно. У тебя забот больше, чем у меня. А в конце зимы не выдержал — приехал к тебе.

Вернее, в твоём городе уже наступала весна. Тротуары были сухими. Снег на обочинах дорог побурел, стал ноздреватым от полуденных солнечных лучей.

Ты пришла ко мне в отель. И когда мы проходили через вестибюль, все мужчины смотрели на тебя. А женщины — на мужчин. Ты, чуть смущенная всеобщим вниманием, царственно прошествовала к лифту.

Я смотрел на тебя и слушал твои певучие, похожие на музыку, слова. Смотрел и слушал, слушал. Тебя можно было слушать бесконечно...

Вспомнили про вечер. Была возможность сходить в театр. Втроем, с твоим мужем. Было три билета. Немного подумав, я отказался от этой затеи. Может быть, стоило сходить. Тебе виднее, и ты всегда оказывалась права. Но мне, конечно же, больше хотелось побыть с тобой вдвоем, без третьего. И я все смотрел и слушал тебя. Будто вечность прошла после нашей последней встречи.

На другой день я пришел к тебе на работу.

Потом мы пошли в парк, где под сенью вековых сосен еще лежал печальный, обреченный на гибель, ноздреватый снег. Неторопливо, тихо переговариваясь, прогуливались по дорожкам. В конце аллеи, когда надо было повернуть назад, ты приостановилась, посмотрела мне в лицо и сообщила:

— Я все сказала мужу. Про нас с тобой...

Я молча смотрел на тебя. Не знаю, что отобразилось на моем лице. Не знаю. По-моему, немая сцена затягивалась. Ты подняла на меня свои прекрасные глаза. Губы твои чуть дрогнули, и ты чуть смущенно, с виноватой полуулыбкой сказала:

— Так будет лучше. По-другому я не могла...

Я не мог себе представить, что творилось в твоём доме. Не мог представить, как он принял твоё признание... Ты, ребенок, муж, наука, работа, домашние дела. Господи, как же теперь ты станешь жить?! Каково тебе?! Я больше беспокоился о тебе. Хотел, чтобы тебе было хорошо, чтобы у тебя не было проблем. А теперь?

Тогда я еще не знал, что в любви надо доверяться женщине. Особенно если это любящая женщина. Может быть, просто интуитивно чувствовал это. Только намно-

го позже я понял, что с того мгновения у тебя не стало мужа. Это была самая большая жертва, которую ты могла принести во имя любви. Но осознал это слишком поздно — уже после твоего ухода в мир вечного покоя. А тогда, в парке, мне подумалось, что тебе виднее, как быть. Значит, в самом деле так будет лучше. Прежде всего, лучше для тебя.

Я быстро поцеловал тебя. Но поцелуй пришелся чуть выше переносицы. Ты, конечно же, правильно поняла значение этого поцелуя: тихо засмеялась переливчатым ручьем:

— В лоб целуют покойников.

— Я попал в переносицу, — сказал я.

— Хорошо, пусть в переносицу, — согласилась ты.

— Ладно, сейчас все исправим, — уверил я и, наклонив голову, нашел твои губы.

Я долго не отпускал твои губы. Мы нечасто встречались, и поэтому каждый раз я старался навечно сохранить в себе любую частицу твоего тела. Потом я обнял тебя за талию, и мы пошли не спеша обратно по сосновой аллее. Шли, и я всем своим существом ощущал зыбкие ускользающие струи нашей жизни. Пройдя немного, медленно ступая, ты продолжила свою первую фразу:

— Потом я все перемыла в доме.

Я молча внимал каждому твоему слову. Выдержав паузу, ты сказала:

— Сапоги плохо просохли. У меня, кажется, зябнут ноги.

— Давай погрею, — сказал я.

Мы остановились посреди дорожки. Я присел на корточки и, расстегнув молнию, снял твой правый сапог. И приложил ладонь к твоей пятке. Она была прохладной и в то же время очень приятной, как все прохладное и свежее бывает в жаркий полдень. Ты стояла, опершись рукой о мое плечо. Я не видел твоего солнечно-светлого лица. Но знал, что тебе хорошо. Ведь мое тепло уходило в тебя. И ты невольно становилась частью меня. И я,

уходя в тебя, тоже превращался в частицу твоего тела и твоей души.

Так я продлял каждое мгновение нашей совместной жизни.

Потом, согрев тебя, предложил:

— Пойдем в тепло...

— Пойдем, — легко согласилась ты.

И мы направились к выходу из парка.

Я все думал, как ты теперь станешь жить. Не думаю, чтобы твоя исповедь обрадовала мужа. Как он отреагировал, я не знаю. Ты ничего про это не сказала, а я не стал спрашивать. Меня беспокоила твоя дальнейшая судьба. На это ты мне сказала своим музыкальным голосом:

— Не волнуйся. Я знаю, что делать...

И посмотрела на меня своим удивительным взглядом, в котором смешались вместе и любовь, и сочувствие нам обоим. Ты ведь не могла умчаться со мной неведомо куда, оставив свой город, дом, семью, работу и науку — словом, все то, к чему так привязалась за годы своей разумной жизни.

В ответ я только сильнее обнял тебя.

Потом ты сидела за фортепиано и играла. Я устроился в кресле чуть правее и впереди тебя. И смотрел на тебя. Смотрел и слушал. Кресло было старенькое, возможно девятнадцатого века, но гостеприимное, теплое, удобное.

Ты играла мне классику. И я мог бесконечно слушать и смотреть на тебя. Я видел тебя в профиль. Видел твою чуть наклоненную голову, ниспадающие на плечи вечерние волосы, чистый лоб и трепетно-чуткие длинные ресницы. Время от времени, не прерывая музыкальной фразы, ты поднимала на меня свои задумчиво-спокойные очи, и я тонул в их таинственной и томной глубине. В такие мгновения мы оставались совсем одни во всей Вселенной, и лишь нежная, тихая мелодия, будто льющаяся с небес, напоминала нам о наших земных днях.

Мне особенно дороги были эти мгновения наших встреч и нашей жизни.

В тепле нам было тепло. В тепле нам стало жарко.

Это был удивительный жар. Я помню каждое прикосновение к твоему телу. Помню каждое твое движение. Помню каждый твой вздох. Ты была талантлива во всем. И в любви тоже. Каждый раз ты представляла предо мной другой, неизвестной и непознанной. И каждый раз я открывал для себя новый мир твоего тела и твоей души. И эта бесконечная неизвестность и неизведанность все сильнее и сильнее меня тянула к тебе. При людях ты была скромна и даже застенчива, но когда мы оставались вдвоем, ты чувствовала себя удивительно свободной. И я радовался твоим переменам, твоему таланту так быстро переходить к естественному состоянию нормального человека. За одно только прикосновение к твоему телу можно было спокойно и без всякого сожаления умереть. Умереть в одночасье, в одно мгновенье.

Потом я уезжал и писал тебе письма.

И опять начался эпистолярный период нашей жизни. Я писал тебе почти каждый день. Писал утром. Писал днем. Писал вечером. Писал ночами. Я посылал тебе тысячи и тысячи прекрасных слов. Может быть, миллионы и миллионы. Возможно, тьму и тьму слов и пожеланий. Все равно их никому не сосчитать. Они летели к тебе с каждой почтой. Они неслись к тебе в каждую секунду нашей жизни. Я жил только этим. Только ожиданием твоих писем. Ты писала, но чуть меньше и реже, чем я. Я понимал тебя. Ведь у тебя ребенок, наука, работа, мама, дом и множество других чисто женских забот.

Этот период закончился немного грустно. В твоём же сосновом парке, когда мы прогуливались в мой очередной приезд, ты тихо, как бы между делом, сказала мне:

— Я сожгла твои письма... — Обвела взглядом нахмурившиеся сосны, помолчала, потом добавила: — В этом парке. — Ещё немного помолчала и пояснила: — Их негде хранить...

Мы без слов понимали друг друга. Я тоже часто задумывался о твоих письмах. Очень не хотелось, чтобы кто-то другой мог прикоснуться к твоему слову, предназначенному только мне. Не хотелось, чтобы кто-то узнал о твоих милых моему сердцу глазах, о твоей легкой грусти и сводящей с ума нежности и тайной страсти. Но у меня рука не поднималась избавиться от твоих писем. И, наверное, никогда не поднимется. Мне было грустно оттого, что все мои прекрасные слова к тебе под этими соснами превратились в пепел и улетели в небо. Улетучились. Я мог себя тешить только тем, что и с небес, когда ты вспоминаешь о них, мои самые лучшие слова согревают тебя. Сгусток их энергии, овеивая тебя теплой волной, витает где-то там, высоко-высоко, в неведомых звездных далях.

Но в те дни мы уже плавно переходили к телефонному периоду нашей жизни. Мы все чаще стали переговариваться по телефону. Я звонил тебе на работу, домой, в науку... И всегда с упоением слушал твой голос, похожий на неповторимую и никем еще не записанную музыку. Ровный, мягкий, чистый и зачаровывающий голос. То ловил музыку твоего голоса, то смысл слов, то совсем отключался и думал только о нас с тобой. О том, как хорошо, что ты есть. Какое это счастье, что ты есть! И я могу слушать тебя. И могу приехать к тебе. И могу увидеть тебя. И могу прикоснуться к тебе. И могу поцеловать тебя и задохнуться на мгновение от пьянящего вкуса твоих губ. И могу сгорать в испепеляющем жаре твоего тела. Какое это счастье!..

Я приезжал к тебе как на праздник. Садился в свое кресло, смотрел на тебя и слушал твою волшебную музыку. Ты, как всегда, играя, то опускала, то поднимала свои ослепительные очи. Это были мгновения, равные вечности. Ты общалась со мной и языком жестов и движений, и языком музыкальных фраз, и своим изумительным голосом. Однажды, сидя за фортепиано, не поднимая головы, ты сказала:

— В следующем году пойду в отпуск.

В словах ничего особенного, как бы все обыденно. Но музыкальная фраза выразительно предупредила меня, что речь пойдет о чем-то очень важном. Я молча слушал. Через мгновение, когда мелодия опустилась с высоты и выровнялась, ты своим ровным мелодичным голосом добавила:

— Возможно... на год.

Ты помолчала. Мелодия, замедляя темп, пошла в сторону пиано. И тут ты подняла на меня свои индиго-загадочные и словно бездонные омуты глаза, чуть улыбнулась и спросила:

— Возможно?..

Я молча встал, подошел к тебе и окунул руки в льющиеся чистым родником твои медно-лиственничные волосы, затем опустил, как в журчащий ручей, свое лицо и нашел губами твою макушку. Молча стоял и впитывал в себя лесной запах твоих волос. Это значило одно:

— Воз-мож-но...

Потом многое я узнавал о малыше по телефону. Прорезался первый зуб. Встал, сделал первые шаги. Пошел в первый класс. Закончил второй. Перешел в третий. Так водопадом мчалась-металась наша быстротечная жизнь. Я все думал, что впереди у нас еще много-много прекрасных дней и ночей. Но оказалось, ошибался. Оказалось, всему есть предел. И безмерному счастью тоже приходит конец.

Я звонил тебе весной. Звонил знойным летом. Звонил слякотной осенью. Звонил студенными зимами.

Звонил днем. Звонил вечерами.

И бессмысленную весть о твоём уходе тоже получил по телефону.

В тот год мне очень хотелось увидеть тебя. И я звонил тебе ранней весной. Звонил в апреле. Звонил в мае. В июне. В первых числах июля. Позвонил в конце июля.

Потом позвонил в самом начале августа. И сказал о главном:

— Я хочу приехать к тебе.

Ты помолчала в трубку, потом своим изумительным голосом пропела:

— Не надо.

— Почему? — удивился я.

Ты выдержала паузу и сказала:

— Я плохо выгляжу.

Я тихо засмеялся в трубку — ты не могла выглядеть плохо. Ты всегда прекрасно выглядела. В любом положении. В любой ситуации. В любое время дня и ночи. Я был уверен: плохо выглядеть ты просто не могла. Значит, подумал я, сейчас просто не очень удобное время для моего приезда.

И я уверенно возразил:

— Ты не можешь плохо выглядеть.

Ты снова чуть помолчала, затем сказала:

— Я недавно вышла из больницы.

Это меня насторожило, и я быстро спросил:

— Что-нибудь серьезное?

— Да нет, — услышал я твой спокойный ответ.

— Значит, я могу заехать к тебе?

— Да скоро мне опять надо будет туда...

— Может, помочь в чем?..

— Нет, ничего не надо.

Мы чуть помолчали. Потом я на всякий случай спросил:

— Выкарабкаешься?

— Да, конечно, — уверенно сказала ты.

Мы еще немного поговорили и попрощались.

Меня усыпил твой уверенный и всегда изумительный голос. Я не уловил ни одной тревожной нотки. Разве мир мог существовать без твоего певучего голоса, без твоей классической строгой красоты, без твоей грации в движениях, без изящных линий и форм твоего тела, без твоего таланта, без таинственной и непостижимой глубины твоих прекрасных глаз?! Нет конечно. Нет и нет.

И я не поехал к тебе. Хотя был уверен, что все равно ты выглядишь прекрасно. Но раз не очень удобное для

тебя время, значит, не нужно приезжать. Я слишком тебя любил. Любил и прислушивался к каждому твоему слову, старался предугадать каждое твое пожелание.

А осень того года в моей безалаберной жизни выдалась суетливой и бурной. Та осень пролетела, как один день. А потом, в начале зимы все как-то не дозванивался до тебя. И лишь перед самым Новым годом меня озадачил незнакомый голос, который поинтересовался, кто спрашивает тебя. Я от неожиданности ничего не смог сказать. Никто и никогда такой вопрос мне не задавал. Если тебя не было дома, то сообщали, где ты и когда вернешься. Возможно, поэтому я не стал отвечать, как мне показалось, на бестактный вопрос.

Наконец после новогодних праздников я позвонил твоей маме. Она назвала твое имя и обрушила на мою голову страшную беду одним словом:

— Умерла.

Я не поверил. Машинально переспросил:

— Умерла?

— Да.

— Когда?

— ... августа.

Она назвала точное число. Я быстро сообразил: это случилось менее чем через три недели после нашего с тобой последнего разговора.

Я потерял дар речи. Оцепенел. И долго сидел в этом оцепенении. Все мое нутро охватил огонь. И огонь нещадно сжигал меня. И будто рухнул в странное пустое пространство между миром живых и ушедших. Все теперь делал неосознанно. Встал, прошел на кухню, открыл холодильник, нашел бутылку. Налил стакан чего-то хмельного, выпил. Постоял, прислушался к тишине. Потом выпил второй стакан. Опять встал, прислушался, словно хотел услышать твой голос. Боль внутри меня немного притупилась. И я вернулся в комнату. Нашел телефон, набрал номер твоей мамы, спросил:

— Где похоронили?

- Там. Я не стала ее тревожить...
- Рядом с ней есть свободное место?
- Есть.

Немного помолчал, потом сказал:

- Хочу быть... рядом с ней.
- Твоя мама выдержала большую паузу:
- Она сказала...
  - Что она сказала?!—я перебил ее слова.
  - Она сказала: пусть полюбит—и выживет...

Зачем выживать и жить, если нет тебя? Сейчас я думал только об одном: умереть и лечь рядом с тобой. Голова к голове. Рука к руке. Бок о бок. Как когда-то мы с тобой любили лежать на нашей земле и смотреть на небо, на звезды, в таинственную бездонную ночь. Я лежал бы и чувствовал, что ты рядом сомной, за тонкой пластиной земли, за тонкой стенкой гробовой доски.

Какое это блаженство лежать рядом с любимой в мире вечного покоя... Ничто уже не тревожит, не беспокоит. Мы вместе навеки. И никто и ничто нас уже не разлучит. Умереть, умереть, скорее умереть. В сию же секунду.

Но здравая половина моего рассудка подсказала, что попасть к тебе сейчас не так-то просто. Ты в другом городе. До тебя далеко. Сначала нужно добраться до тебя. А на дворе ночь, темно. А потом надо будет, чтобы кто-то положил меня рядом с тобой. Этот кто-то очень хорошо должен знать, почему это нужно нам обоим—и тебе, и мне. А таких людей, кто бы знал нашу тайну, почти нет. Какая-то необъяснимая магическая сила оберегала нашу любовь от всех посторонних, оберегала от всего любопытного и суетного мира. Даже твои близкие подруги вряд ли догадывались о ней. А твоя мама все чувствовала только интуитивно. Однажды в первые годы нашей встречи по пути к тебе я заехал зачем-то в ее мегаполис, в дом твоего детства. Было мне там уютно и хорошо. И твоя мама, учтивая и внимательная, с искренним добродушием, присутствующим широкой натуре, принимала меня. А я, кажется, тихо радовался твоему незримому присутствию в этом доме.

Разумеется, твоя мама ничего не спрашивала о наших с тобой отношениях. Только потом, спустя много времени, она как-то спросила тебя: «Он все еще любит тебя?» Ты тогда просто отшутилась, и эта тема больше не затрагивалась.

Огонь внутри меня опять стал усиливаться. Я пошел на кухню и снова один за другим с небольшим перерывом выпил два стакана хмельной жидкости. Боль немного притупилась. Потом оделся и вышел на улицу. Та зима выдалась особенно лютой. Но я холода не чувствовал.

Постоял возле дома. Было темно. Лишь кое-где светились тусклые уличные фонари в морозном ореоле льдинок. Потом сделал шаг и, будто во мне был компас, по мрачным, темным кварталам двинулся в сторону твоего города. Шел медленно, не спеша. Потому что был очень занят: думал о тебе. Думал и видел тебя. И в конце концов, после долгих изнурительных раздумий, возможно, вдруг открыл для себя природу любви. Твоей любви. Почему ты любила меня? И сейчас вдруг озарило меня: ответ упал будто с темной небесной высоты. Просто я любил тебя больше всех на этом свете. Больше, сильнее, веселее и добрее, чем все остальные, кто встречался на твоём пути. В этом я никому не уступал и не уступлю. И, осознав и поняв это, я будто заново родился на свет.

И теперь шел в морозном дыму и ждал, ждал с нетерпением своей кончины, своей смерти. И когда бы она ни пришла, какой бы она неожиданной ни была — я приму ее с радостью. Так моя земная жизнь уравнилась с потусторонней жизнью. Теперь живу ожиданием той, другой жизни. И свою кончину восприму с тихим ликованием — ведь там, в мире вечного покоя, ты ждешь меня.

*Ханты-Мансийск  
21 апреля 2001 года*

# ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ

*Рассказ*



---

Утром она проснулась от лебединого крика. Птицы трубили на болотном озере. И хотя до озера было не близко, ей казалось, что лебеди где-то рядом, за прокопченными стенами избушки,— так отчетливо доносились их крики. Они играли словно на серебряных трубах, они звали. Хотелось выйти и взглянуть на них.

Тревожила и осень: сентябрь донага раздел деревья—лес насторожился, стал чистым и звонким. Прозрачными были воздух и утро. Все стало тонким, трепетным, воздушным. Ничто не задерживало звуки, ничто не искажало их. Сколько в них грусти! Если внимательно прислушаться, уловишь все: и тяжесть предстоящего неведомого, далекого пути, и тоску по родному озеру, и надежду на возвращение, надежду на жизнь...

Девушка лежала в тепле спального мешка и слушала лебедей. Слушала так долго и внимательно, что стала понимать эту минорную музыку осени. До нее ясно доходило то, что играли лебеди. И мысль, что ей доступен язык этих гордых птиц, радовала ее. Никто до нее так терпеливо не прислушивался к голосу птиц, поэтому и никто не понимал их. И вот она первая...

На ее бронзовом от ровного загара лице блуждала улыбка. Улыбка до того легкая, что, казалось, ее может вспугнуть любой неосторожный шорох, любой посторонний, звук. И тогда бы нежная кожа быстро разгладилась—ни морщинки, ни складочки, будто бы не улыбалась вовсе. Но никто не осмеливался нарушить таеж-

ную тишину, никто, кроме озерных лебедей. А они не мешали ей.

Как хорошо, что уговорила Диму взять с собой в это царство тишины и звуков! И уезжать никуда не хочется. Так и жила бы весь век в этой прокопченной таежной заимке с ее лебединой музыкой и запахами осени...

Ей казалось, что так и будет. Что может помешать ее мечтам?!

Тонко скрипнула половица. Это поднялась бабушка Дарья — махонькая, но необыкновенно проворная старушка-хозяйка. Первым делом она затопила чувал — потянуло легким дымком. Наконец двери сказали, что хозяйка вышла на улицу. Если хозяйка встала, значит, половина седьмого — хоть часы проверь. У нее все приготовлено с вечера: береста для огня, дрова, вода, спички. Утром только шаг — и оживает весь дом в одно мгновение.

Попозже, кряхтя и поохивая, поднимается дед Архип. Шумно выковыривает из трубки нагар, провололочкой прочищает мундштук. Потом не спеша набивает табаком трубку, чиркает спичкой — слышится посапывание. Старик молчит. На подогнутых ногах сидит он на лежанке, свесив седую голову с редкой бородкой, и курит свою трубку. Курит он долго — минут пятнадцать.

Девушка сейчас не видит его, но знает, что морщинистое лицо отвердело в глубокой задумчивости. Подслеповатые глаза прикрыты бледными веками. В этот миг он никого не видит и не слышит.

Лучик осеннего солнца через маленькое оконце проникает в избушку. Лебединый крик становится глуше. Потом медленно растворяется в наступающем дне и глохнет.

Выкурив трубку, дед Архип будит внука Диму. Голос у него резкий, не стариковский:

— Вставай, охотник!

— Тут тебе не город, вставай! — тонко вторит ему бабушка Дарья.

— Привык в городе-то...

— Звери-птицы далеко уйдут.

Дима мгновенно проснулся и тотчас же встал, зная, что дед не любит, когда нежатся в постели. Его румяное ото сна лицо с тонкими, правильными чертами и чуть-чуть раскосыми глазами ожило. Потянулся до хруста в суставах и, направляясь к умывальнику, поддел деда:

— Такое солнце! Хочешь на охоту, дедок, а?!

Старик только махнул сухой кистью: не болтай, мол, вздор, я уже отходил свое. Потом сказал негромко:

— Чё кричишь, как ворон?

— А что?

— Марину разбудишь.

— Проворная жена раньше мужа встает! — вставила бабушка Дарья.

— Да не жена еще, — понизив голос, поправил внук.

— Кто же тогда?

— Невеста. Разве не ясно?

— Что жена, что невеста — все одно... — не сдавалась бабушка.

— Хватит! — отрезал дед. Внук с бабушкой при-  
молкли. — Хватит, — повторил дед. — Дайте человеку вы-  
спаться... — Помолчал дед, потом добавил:

— Выйдет замуж — успеет еще намаяться.

Бабушка Дарья с удивлением взглянула на своего ста-  
рика и тут же, хитро усмехнувшись, заторопилась:

— А я чё говорю?! Неужто я одна с хозяйством не  
управлюсь? Всю жизнь управлялась, а тут...

Разговор на этом прервался. Дима вышел на улицу. Бабушка хлопотала у чувала. Дед сердито сопел. А Ма-  
рине стало неловко, и она притворилась спящей.

В доме стало тихо. Прошло сколько-то времени. Стукнула дверь — это вернулся в избушку Дима. От него едва уловимо пахло росой, сосновой хвоей и свежестью осеннего утра. Глухариным пером он пощекотал девуш-  
ку по носу и шепотом пропел:

— Проснись, Маринушка!..

Она улыбнулась и, не открывая глаз, чмокнула его куда-то в небритый подбородок. Спросила тихо:

— Слышал лебедей? Не приснились?

— Лебеди? Какие лебеди?

— На озере... Утром рано...

— А-а. Я ведь сплю как бурундучок!..

— Знаешь, Дима, я, кажется, понимаю их...

— Ну, ты фантазерка, оказывается! — перебил он. — Скоро разговаривать начнешь с ними. — Девушка промолчала. — Ладно, поднимайся, — улыбнулся Дима. — Замеча-тель-ная сегодня погодка! Погляди!

После завтрака Дима ушел на охоту, он целыми днями бродил по тайге со своей мелкокалиберкой. Приносил рябчиков, изредка косача или копалуху. Как-то и Марина ходила с ним на охоту. Наткнулись на выводок рябчиков. Охотник так увлекся, что позабыл про свою спутницу. Когда спохватился, едва разыскал ее. Больше с ним она не ходила. Теперь она держалась за бабушку Дарью — собирала бруснику, грибы, делала снимки. Искала растения для гербария, ловила разных жучков и насекомых. Скучать было некогда.

Дед Архип ловил рыбу. На охоту он уже не годился, а в снастях еще разбирался. После рыбалки он садился на чурбачок возле заимки и, дымя трубкой, смотрел на реку. По ней изредка проходили рыбацьи моторки.

Из-за реки доносился далекий гул вертолетов и самолетов — там стояла какая-то экспедиция. Дед вырывал изо рта трубку, зажимал ее в костлявом кулаке как волшебную палочку, тыкал ею в сторону реки и глухо ворчал:

— Рру-бят!..

Он всегда с разной интонацией произносил это слово: с нестариковской злостью, с обреченностью усталого человека, с детским удивлением, с надеждой на определенный ответ. Но никогда — равнодушно!

Марина считала его добрым. Он любил поговорить с ней: знал много всяких небылиц про тайгу, про зверей

и птиц. Девушка подумала однажды, что он видит лучше всех зрячих. Может быть, и вправду видит лучше?! Ведь человеку помогают жить не только глаза...

Вечером на озере снова затрубили лебеди. Звук теперь был далеким и неясным. Его приглушал поднимающийся сырой туман. Марина слушала молча. Задумчивые серые глаза ее остановились на мутном окошечке заимки. Потом, будто очнувшись от глубокого сна, сказала решительно:

— Видеть хочу... лебедей!

Дима подавился дымом сигареты и закашлялся.

«Про фантазию начнет или зоопарк, — подумала девушка. — Или просто пожалеет, что взял с собой».

Но дед Архип опередил внука.

— Верно, доченька, — была в тайге и не видела самое необыкновенное! — веско заметил он. — Утром ранехонько я вас подниму, посмотрите. Озеро недалеко тут. Кормятся они там, отдыхают перед дальней дорогой.

— А через топь на болоте как она перейдет? — заинтересовался Дима.

— Так же, как и ты! — отрезал дед. — Серdito попыхтел трубкой и добавил: — Совсем тебя, видно, город попортил, ох-хот-ник!

Поутру, когда птицы еще не осмеливались разбудить тайгу, дед поднял внука и Марину.

— Лебеди кормятся на Северном заливе, где водоросли у самого берега, — наставлял он. — Обойдете озеро, выйдете прямо на них. По утрам они бывают у самого бережка. Через озеро-то ничего не увидит наша деточка, кроме белых шариков. И то не разберешь — то ли лебедь, то ли пена.

Утро прозрачное, росистое и холодное. Шли сначала по сосновому бору, потом вышли на болото. Через топь перебрались по кочкам и скользким настилам, со слезами на руках.

Между деревьями в лучах восходящего солнца засе-ребрилась гладь озера.

— Теперь поползем! — сказал Дима.

— Зачем?

— Чтобы не увидели.

— А-а...

— Чтоб поближе подобраться...

Но Марину сейчас волновало другое. Она одними губами прошептала:

— Тиш-ше...

— Да они плохо слышат.

— Совсем не услышат?

— Зато они хорошо видят.

— Да?

— Да, главное, чтоб не увидели.

— А я ползать не умею... по болоту.

— Упрись на локти.

— Попробую...

— Ну, пошли.

Между серых болотных кочек доползли до последних кустиков. Дальше метров тридцать до воды — чистый берег с реденькими пучками осоки.

Марина, затаив дыхание, выглянула из-за куста: стая висела над водой со сложенными крыльями. Не плавала, а висела. До того птицы изящны, легки и чисты. Ничего белее в жизни она не видела. Озеро вдруг стало светлым-светлым, а берега раздвинулись до бескрайности.

Лебеди заслонили собой весь мир. И пред этой светлой бескрайностью защемило сердце, сладко и тревожно, словно оно оторвалось и парило где-то в груди — вот-вот выскочит. И тогда ты станешь таким же светлым, и чистым и поднимешься в бескрайнюю высь — в царство света и солнца. И там постигнешь что-то такое, такое... непостижимое. Может быть, остановишь мгновение, остановишь плавное течение времени... Так щемит сердце только раз в жизни.

А лебеди, лебеди... Одни плавали в сторонке с напряженно поднятой шеей, охраняли стаю. Видно, часовые.

Ближе всех к берегу кормилась птица с красным ободком у основания черного клюва и бесстрашными блестящими глазами. Она с головой уходила в воду, будто делала стойку. И так стояла до тех пор, пока не находила лакомство. Вынырнув и вытянув шею, тонкую и беспомощную, глотала добычу. Затем выгибала шею дугой и водила клювом по-над водой, словно высматривала что-то. Тут к ней подплыла другая птица. Наверное, друг. Он потянулся к ней клювом—видно, хотел поцеловать. Но лебедица мотнула гордой головой: не мешай, мол, нужно силы набирать перед дальней дорогой. Тот обиженно опустил голову, но далеко не отплывал. А лебедица осмотрелась, на миг замерла с выгнутой шеей. Потом, успокоившись, смахнула с крыла пылинку и вновь нырнула за пищей.

Марина спохватилась, легонько вытащила фотоаппарат и нацелилась на лебедицу.

Грохнул выстрел. Из рук девушки выпал аппарат.

Шум воды. Хлопанье крыльев. Утробный стон. Лебедица дважды хлопнула выгнутым крылом и, беспомощно волоча раненое, печально трубя, рванулась на середину озера.

На взлете в лучах восходящего солнца стая превратилась в золотисто-серебряную арфу, заигравшую тревожно-печальную мелодию озер и болот. А потом лебеди стали терять очертания в каких-то туманных наплывах, словно растворялись. Только трубные звуки доносились отчетливо и ясно. Затем в эту минорную музыку ворвалось что-то постороннее. Его растерянно-недоуменное:

— Я же охотник... пойми...

И ее—яростно-негодующее:

— Ты... ря... рряб... ряб-чишник!..

Гребенка соснового бора за озером проколола шар встающего солнца. Оно запуталось в ветвях-колочках.

На обратном пути, когда они переходили через топь, у девушки сердце уже не замирало, не билось трепетно перед бездонной черной пастью болота.

Весь день прошел у нее в каком-то полусне, все к чему-то она прислушивалась. Но был сильный ветер. Бор ворчал глухо и басовито: поглощал все шумы тайги.

Марина утешала себя: лебедица залечит свою рану и улетит. Но эту призрачную надежду теснили сомнения: вот-вот ударят морозы...

Утром Марина проснулась от гнетущей тишины. Вдруг услышала едва уловимую игру воздуха на иглах старой сосны, стоявшей близ избушки. Неожиданно тишину разорвала лебединая песня. Вовсю затрубила стая. Но ее мелодию пронзал другой звук. Крик, полный отчаяния и безысходной тоски. Он был на тон выше всех остальных звуков. Это плакала раненая лебедица. Сколько грусти, сколько тоски и надежды! От этой песни бросало в дрожь.

Девушка закрыла ладонями уши. Но даже так она слышала лебединую песню. Последнюю, прощальную. Она слышала каждой клеточкой своего тела, начиная с маленьких ступней и кончая длинными, хорошо развитыми пальцами рук с матово-темной от загара кожей. Но особенно боль этой песни усиливалась на девственных, никем не целованных грудях...

Песня безжалостно пробивалась к ней, звала далеко-далеко, в неведомую страну. Избушка вдруг поплыла, накренилась, будто корабль в сильный шторм. Девушка обхватила голову руками и зажмурилась до боли в глазах.

Вечером дед Архип мрачно сообщил опешившему внуку, который только вернулся с охоты:

— На попутной моторке. Уехала на попутной Мари-на-то, да!

Вздыхнул, зажал в костлявом кулаке трубку так, что побелели пальцы, ткнул ею в сторону реки и добавил:

— Улетела наша лебедушка...

*Москва,  
1976 год*

# ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ

*Рассказ*



---

Дождь родился так давно, что коллектор буровой Вера Тарлина уже забыла тот день, когда продырявилось небо и наступило время кислой воды.

Тучи облезлыми оленьими шкурами лежали на вершинах кедров, прижав к земле таежных птиц, продрогших и насквозь мокрых. Дождь сеял бисеристо-мелкий и нудный — проникал во все, что стыло под небом.

Буровики стали неуклюжими и сырыми, как тяжело больные водянкой. На небо уже не смотрели, а угрюмо, без всякой надежды взирали на чвакающую под ногами грязь. В деревьях и травах путались туманы, пригнулись кусты, унылые и безрадостные.

Возле буровой глухо ворчал ручей, разбуженный дождем.

По утрам небо прояснялось, тучи нехотя напоздали друг на друга, на мгновение прорывался изможденный лучик солнца. Вместе с ним прорывался на буровую и вертолет с глиной и бурильными колоннами, с людьми и продовольствием. Но потом все начиналось сначала.

И сегодня, когда Вера бегала на вышку замерить раствор, промокла до нитки — не любила кутаться в грубые казенные плащи. В темноте тесного балочка она скинула одежду и переделалась в сухое.

На дощатой крыше монотонно плясали дождевики. По стеклам ползли темные струйки воды. Ночь уставилась черным оком в маленькое оконце.

Девушка долго сидела на постели, прислушиваясь к шуму дождя. А он бесконечно вел свою грустную бе-

седу. Вел торопливо и тревожно, будто спешил, чтоб кто-нибудь не прервал. Но за окном непробиваемая стена августовской ночи. Вере стало зябко, она закрыла глаза и натянула одеяло до самого подбородка. Дождь напоминал, как она попала на буровую. Он пересказывал ее жизнь.

У противоположной стены одиноко белела постель тети Устиньи, уборщицы и кастелянши. Она вместе со вторым коллектором Зинкой улетела на выходные.

За год работы на буровой, несмотря на разницу в возрасте, Вера подружилась только с тетей Устиньей — дородной женщиной с громовым басом. По утрам, опершись на перила крыльца, словно командующий, она отдавала приказы, которые тотчас же исполнялись. Даже мастер, мужик крутой и своенравный, побаивался ее. Она знала только русский язык, хотя предки ее по отцовской линии были охотники-ханты.

Она устроила Веру в нефтеразведочную экспедицию после того, как ее отец, возвращаясь из удачного промысла, по дороге на подбазу попал в «автомобильную катастрофу». Остались изуродованный труп, испуганная упряжка оленей и деревянный промысловый инструмент. Около Тарлина не обнаружили ни ружья, ни добытой пушнины. И осталась еще в таежном поселке семья — шестеро детей у матери на руках. Все мал мала меньше, лишь старшая Вера училась в десятом классе.

До весны кое-как тянули, сводили концы с концами. Потом Вера бросила школу и пошла работать в колхоз. Но от этого мало что изменилось.

Тут-то тетка Устинья и пришла на помощь — помогла определить Веру на курсы коллекторов. Затем она забрала девушку к себе в бригаду, где работала. На парней рычала свирепой росомахой, не стесняясь в выражениях: «Эй, кобелье, кто обидит — шкуру спущу, собакам скормлю!»

Поначалу всеобщее внимание смущало Веру. Смущало и в то же время просветляло жизнь: она не могла не

улыбнуться человеку доброму. Но как только буровики начинали заигрывать, она становилась холодной и строгой, как безмолвная языческая богиня. Наконец оставили ее в покое.

Лишь новички глазели на недоступную, заманчивую в своей восемнадцатилетней свежести девушку и пытались завоевать ее расположение, но натыкались на ледяную отчужденность и отходили. Еще она постоянно ловила на себе откровенно вожделенный взгляд лохматого плюгавенького помбура Митрохи, вечно угрюмого и озлобленного. Кроме отвращения, он ничего не внушал, не было даже страха.

В эту ночь, возвращаясь с вышки, она видела свет только в одном балке. Если бы замедлила шаг, то сквозь шум дождя уловила бы свое имя. Но она спешила.

Дождь проникает во все закоулки. Он плохо видит в ночи, но хорошо слышит. И водяным языком пересказывает все, что услышит.

Девушка уснула, не услышала, что говорил дождь. А он, не зная, что она спит, продолжал рассказывать о том, что делается на буровой в эту темную ночь.

В соседнем балке не спала вахта, что вот уже третьи сутки из-за дождя не может выбраться в поселок на отдых. Заросший угрюмый помбур Митроха, злобно сверкая кровавыми белками, тихонько рычал:

— Все прошел—но такой пакости не видел: помочиться не выйдешь.

— Льет классно!—поддакнул молодой буррабочий.

— Разве это жизнь?!

— Не жизнь...

— Проклятый дождь!—ворчал Митроха.

— А на базе водка да бабы ждут,—поддразнил верховой.

— Канать надо отсюда, пока не скисли совсем!

— Кто же тебя загонял сюда, Митроха?—усмехнулся дизелист.

— Кто загонял?

— Сам себя и загнал за жирным куском — на кого ж рычать?

— Не твоего умишка дело — кто загонял! — огрызнулся Митроха.

— Не расстраивайся, Митроха, — водка от тебя не уйдет, — сказал верховой.

— И Маруська твоя не уйдет! — добавил буррабочий.

— Не расстраивайся, Митроха, — поддел въедливый дизелист. — Твоя Маруська сейчас с каким-нибудь помбуром спит!

Ты там пока не нужен!

— Не тр-рожь!.. — зарычал Митроха.

— Что ты, Митроха, пошутил твой кореш! — миролюбиво сказал помощник дизелиста.

— Растравите мужика — так, пожалуй, пешком на базу рванет, — заметил верховой.

Тут все замолкли. Возможно, задумались о предстоящем отдыхе. После паузы бурильщик перевел разговор на другое. Ни к кому не обращаясь, сказал:

— Уголок дикий, что и говорить. Эдак лет через двадцать таких мест не будет — всем завладеет человек.

— Завладеешь! — скривился Митроха. — Тогда не останется ни одного грамма нефти, ни одного дерева, медведю не хрен будет делать. Я видывал уже такое.

— За двадцать лет всю тайгу не вырубить, шалишь!

— Ты будешь рубить, не я. Не все же тебе к Зиночке бегать.

— Хе, а кто сегодня к Зиночке идет?

— Куда ее в такую погоду?

— Да она же улетела последним рейсом. Видел, как садилась в вертолет. Сейчас она с пилотами али с технарями в худшем случае. Осталась одна Верочка.

— Ну, эта мигом глаза выцарапает.

— Да...

— Приручить бы надо. Ничто перед топором не устоит, на что уж тайга стояла веками, и то под корень бульдозеры срезают.

— Попробуй, это дитя природы никому спуску не дает...

— Где Устина? — поинтересовался Митроха.

— На выходные, поди, улетела.

— Тэк, тэк...

— Да, в поселке счас лафа. Эх, скорей бы этот чертов дождь кончился. Вкалываешь ради выходных, а теперь жди.

— Будет погода, все наверстаем, ребята, а пока — терпи.

— Митроха-то вон уже расклеивается от сырости, аж слышно, как косточки скрипят.

— Иди, Митроха, пошарь у Михеича — у него спирт для втирания был. Найдешь — королем станешь!

— Может, завтра распогодится, не вечный же дождь!..

Помолчали, потом верховой начал:

— Вот у меня шмара была...

— Кончай базар, спать пора, — прервал бурильщик. —

Вырубай свет.

— Так ведь рано еще...

— Утром не поднимешь вас.

— Ладно, давай уж...

В балке понемногу угомонились.

Дождь отяжелил мрачные елки, незванным гостем забрался в укромные дупла, в некогда уютные и теплые гнезда, врывался в норы и логова лесных обитателей. Будто перед всемирным потопом, он давно переполнил реки и озера. А ручей, что петлял недалеко от балков, срывал листву с прибрежных кустов и в мутном потоке мчал в темноту ночи.

Теперь дождь городил неведомо что. И Вера, проснувшись, перевернулась на другой бок, потеплее укуталась в одеяло.

Из шума дождя приглушенно урчала буровая. Подумала девушка: идет спуск-подъем инструмента, не нужно замерять раствор — нет пока надобности по раскисшей

тропинке бежать к вышке. Но тут же устыдилась этой мысли: она вот здесь, в тепле, на минуту боится выйти на улицу, а каково сейчас односельчанам, рыбакам, охотникам, да и тем же ягодникам, которых дождь застал в лесу?! Над головой у них неказистые шалаши, а то сидят просто под разлапистым кедром у костра. А при обложном дожде огонь едва тлеет.

Она почувствовала, что холодная капля поползла за ворот и, как в детстве, по телу пробежал озноб. Хотя, помнится, тогда, в ее детстве, все-таки в жизни ее было больше солнечных, ясных дней. Может, теперь так кажется. И этот дождь... беспросветный, постылый, неожиданно вторгшийся в эти дни, пришел задолго до времени ненастья.

Отец, бывало, говаривал, что август — лучший месяц лета — щедрый месяц созревания плодов и семени, ягод и трав, месяц окрепшей птицы и тучного зверя, а тут?! И в природе, кажется, все смешалось. Зима в этом году была на редкость сырой и тягостной, в январе шел дождь. Циклоны-антициклоны?.. С чего это?!

На буровой делаешь замеры раствора и занносишь их в вахтенный журнал — и все. Какая же это работа?! Вот у матери в колхозе — раз поднимешься по шаткой лестнице вверх на крышу холодильника, да с носилками измельченного льда, так сразу поймешь, почем фунт деревенского хлеба...

И Вера, тяжело вздохнув, снова задремала.

А дождь уже пересказывал сон, который ей снился.

Будто приехала она домой, а бывший одноклассник Вася Карамкин уговаривает ее, чтобы она не возвращалась на буровую.

«Я удачливый охотник, — говорит Вася, — поженимся, возьмем к себе твоих сестер и станем жить в деревне. Я стану приносить тебе самых лучших зверей и птиц тайги, буду кормить самой вкусной рыбой ее рек и озер, самой спелой и сочной ягодой ее болот и боров. Наряжу в соболя и лисьи меха, как нашу древнюю богиню.

Что тебе еще нужно?! Зачем тебе буровая, которая плачет днем и ночью, пугает зверя и рыбу?

Захочешь — и я стану самым смелым и отважным охотником, один буду ходить на медведя и на сохатого в осеннюю пору».

Она в ответ засмеялась и поцеловала его. Сказала, что буровая вовсе не плачет, бывает только веселой. Или грустной бывает и никого уже давно не пугает, и Васе никуда не надо ходить — и так хорош, и не нужно спешить, ведь впереди еще столько светлых и радостных дней. И нет большего наслаждения, чем жизнь в ожидании счастья. Что же на это ответил Вася? Ах, как жаль, что сон на этом оборвался.

Дождь залепетал что-то несуразное, забормотал о чем-то неведомом и темном. Почему сладкие сны обрываются на середине? Почему они так коротки? И почему они быстро не сбываются?!

Лицо Васи, размытое дождем, уплыло в ночь, его милый голос потонул в шуме воды.

Буровая спала, опутанная сеткой дождя. На вышке под привычный стук дизелей и визг лебедек дремали фонари. Тайга, вплотную подступившая к буровой, настороженно молчала.

Девушка лежала с открытыми глазами. Дождь теперь донимал ее зловещим шепотом, что время повело ее куда-то вперекос, не туда, куда ей надо было. И это началось полтора года назад, до этого не было никаких зигзагов. Была у нее мечта, не видимая никому тропа, которую указала бабушка.

Бабушка умирала тихо, без стонов и причитаний, будто не больная она вовсе.

Может быть, оттого ее кончина так четко врезалась в память Веры. На лице старухи не было страха, а только грусть, до того земная человеческая грусть, что девочка не поверила в ее смерть. Но бабушке закрыли лицо и сказали, что она теперь не человек. Что было после — Вера не помнит.

Потом выяснилось, что бабушка умерла из-за какой-то пустяковины, и будь в поселке врач, он бы спас ее. А врача в те времена не видали, жил здесь только фельдшер. Почему не было врачей—никто толком не знал. Может быть, их просто не хватало, а может никто не хотел ехать в глухое таежное селение.

Вот с тех пор и решила Вера выучиться на врача. Выучиться и обязательно вернуться в родное селение и лечить рыбаков и охотников, их жен и детей. Разве найдешь лучше профессию, чем врач? Разве не в том смысл жизни, чтоб искать и находить свое место на земле?! Разве дочь охотника теперь не хозяйка своей судьбы?!

В школьной библиотеке Вера перечитала всю литературу, где хоть чуть-чуть упоминалась медицина. Она с нетерпением дожидалась летних каникул, чтобы устроиться санитаркой в поселковый медпункт.

Приходили и радости, большие и маленькие.

Главным событием стал тот день, когда фельдшер с мясистым красным носом, по прозвищу Скипидар, подарил ей старый фонендоскоп, и она замерла, услышав биение своего сердца. А сердце, оказывается, умеет разговаривать: оно прыгало, скакало, трепетало—столько в нем было жизни и радости, что хватило бы на все село. Да что на село, на всех живущих на земле хватило бы! И легкие тоже... поют, но поют тихо, чуть слышно, словно воздушные лесные феи.

Чудо, а не прибор. Слышишь, как едет, именно едет, а не бежит кровь по своим таким важным делам. Едет неторопливо, степенно. Приложи палец к чуткому стеклянному уху этого чуда—и услышишь, о чем бормочет он.

Можно, наверное, услышать разговор подснежников ранней весной, любовную песнь цветущей черемухи, дыхание листьев и трав в пору белых ночей. Это ли не чудо?

Если ты однажды уловил все это—потом невозможно свернуть с намеченной тропы...

Проснулась Вера от тягучего скрипа оконной рамы — в балок дохнула сырость и ворвался шум дождя. И тут же мокрая склизкая ладонь ожгла ее губы — кто-то черный и лохматый, дохнув перегаром, навалился на нее. Рванулась из последних сил — затрещала разрываема ночная рубашка. Захлебнулась криком — не вырвался крик, умер, погас крик, не родившись...

Дождь неистово молотил по балкам.

Небо рыдало не переставая.

Тайга угрюмо насторожилась, тревожно зашелестела, вздрогнула от корней до хвоинки, забормотала что-то, обреченная.

В ложбинке за буровой стонал осинник, роняя пурпурно-красную листву — как только листья отрывались, их пожирала бездонная ночь, что тонула в переполненных реках и озерах.

На гриве морщились и стонали древние кедры — у них шелушилась кора, будто дождь раздевал их донага...

Ручей яростно клокотал и давился желто-мутной пеной и ветками.

Смуглая девичья рука безжизненно откинута на скотинную подушку.

Пальцы холодны и неподвижны. И вся она словно помертвела заживо.

Не слышала тяжкого стога тайги, взволнованного торопливого голоса дождя, равнодушного говора дизелей.

Все слилось в черный комок ночи, которой не будет конца.

Бесконечность ночи.

Не существовало буровой, тайги и людей. Солнце уже никогда не поднимется на небо. И не осталось ни одного человека на земле. Нет и милых образов близких когда-то людей.

И оттого, что все кончается так просто и мгновенно, ее охватил черный негасимый огонь. Этот огонь сушил слезы — она не могла выплакать свое горе...

Утро все не приходило, темнота сгущалась, стала вязкой, как раствор на буровой. Дышать становилось все труднее, все тяжелее.

И вдруг она поняла, что утро больше не придет, солнца для нее не будет, а ночь эта бесконечна...

Скорбно, без слез смотрела тетя Устинья в неподвижное строгое лицо Веры, словно дожидалась, когда она встанет и улыбнется. Но тому не суждено быть. И старая женщина не выдержала. Опустилась на колени, простонала:

— Загубили ду-шень-ку мо-ю... ироды!..

И заплакала навзрыд.

Дождь лил не переставая.

*Ханты-Мансийск,  
1977 год*

**В ОКОПАХ,  
или ЯВЛЕНИЕ  
ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ**

*Рассказ фронтовика*



---

*Незабвенной памяти  
моего друга, земляка,  
освободителя Европы  
Алексея Разбойникова*

**Я** расскажу тебе о женщинах на войне.

Попал я на фронт в составе сибирских полков, которые отстояли Москву. Сибиряки на фронте — это особые люди. Быть может, нам было немного легче, чем другим. Ведь все мы выросли в суровых условиях Севера и привычны ко всем тяготам жизни. Привычны к холоду и голоду, уверенно стояли на лыжах и ориентировались на любой местности. Нам знакомы изнурительные походы и ночевки у костра под открытым небом. Наконец, мы все были охотниками и хорошими стрелками.

Я был ординарцем у комбата, капитана Красильникова, Александра Александровича. В житейских разговорах мы все называли его просто Сан Санычем. Это был высокий стройный блондин с умными голубыми глазами, которые тепло освещали вас сквозь толстые стекла очков. Встретились мы с ним в известном сибирякам омском сборном пункте Черемушки и не расставались почти до самого конца войны. Сначала он командовал взводом связи, затем ротой связи, потом получил батальон. А в связи, как правило, служили в основном девушки, женщины. А после, уже по привычке, батальон Красильникова часто называли «женским».

Командиром и человеком он был редкой души. Родился в Ялutorовске, а учительствовал на Севере, учил детей математике. Батальон для него был одним большим классом, как в школе. Всем он говорил только «вы». Я никогда не слышал его крика или ругани. Для каждого

бойца у него было свое словечко, свое обращение. Все делал основательно, не спеша, без суеты.

Перед каждой операцией, если было время, любил побеседовать о предстоящем деле с бывальыми бойцами, многие из которых помнят первые тяжкие месяцы отступления и уже успели вволю нанюхаться пороха войны. Ставил вопросы, как бы боец поступил в той или иной ситуации. Все, что слышал, наматывал на ус, чтобы с наименьшими потерями выполнить задание. Как бы математически, с помощью цифр, он просчитывал любое дело. Много ума не надо, чтобы побить противника числом, обычно говаривал наш комбат. А вот для победы с малыми потерями надо крепко поломать голову. На рожон никогда не лез, к военной карьере был совершенно равнодушен. Прежде всего он был озабочен тем, как сберечь людей, а значит, сберечь батальон. Что ему и удавалось до самого конца войны. Возможно, поэтому у командования наш батальон был не на первом, но и не на последнем счету.

Была у моего командира Красильникова, как и у многих офицеров, своя походно-полевая жена, бойцы на всех фронтах коротко окрестили их просто ППЖ. Это была мрачноватая на вид, немного неуклюжая, немногословная и медлительная связистка Клава. Внешне комбат ничем не выделял ее среди других бойцов. Она всегда жила только со связистками. Но душой он крепко был привязан к ней и ни от кого не скрывал своих отношений с Клавой. Я иногда задумывался над тем, как он будет жить после войны. Знал, что Клаву он не оставит. Но не оставит и жену, учительницу-биологичку, которая растила ему маленького Саньку, Саньку-сорвиголову. О нем жена писала ему в каждом письме: как он вырос, какие шалости творит в доме, что спрашивает об отце и войне. Может, как-нибудь и поладят втроем. Ведь после войны не он один окажется в таком положении.

Помню, в конце войны, фронт полгода стоял в Венгрии. Нашему батальону достался участок на красивейшем озере Балатон. Палатки роты тянулись изогнутой

линией вдоль северного берега, возле кромки леса. Это была и не передовая, и не тыл. Точнее, наверное, вторая линия наступления. На войне не всегда знаешь, сколько линий впереди, до противника. Это был для нас короткий передых. Как и на передовой, мы несли караульную службу. А девчонки роты связи, как и в любом привале, успевали постираться и умудрялись развесить белье и на палаточных веревках, и на бечевках-бинтах, натянутых между хлипкими кустиками, и на толстых, местами побитых осколками, сучьях вековых дубов.

Пахло порохом, весной и женским бельем.

В ту ночь, задолго до рассвета, я проснулся от жуткого воя. С головой накрылся шинелью, заткнул уши, а жуткий вой все проникал и пронизывал все мое тело. Жуть берет. Не мог заснуть. Только на рассвете вой прекратился.

Как утром выяснилось, ночью связистка Клава отправилась искать повреждение на телефонной линии. Она была беременна. В темноте споткнулась и ушибла внутриутробного ребенка. Ее перенесли в палатку до отправки в полевой госпиталь. Ее давно надо было отправить в тыл. Клава считала себя ангелом-хранителем своего возлюбленного и говорила, что без нее «Саник» пропадет. А он, видимо, тоже не мог оторвать от себя Клаву. И вот чем все обернулось.

Утром капитан Красильников отправил меня к связисткам, где жила Клава. Я осторожно поскребся в брезентовую полость-дверь и, услышав внутри шорох, предупреждающе кашлянул и с хрипловатым от утренней сырости словом «разрешите» вошел в палатку связисток. За походным столиком, с накинутой на почти голые плечи шинелью, из-под которой виднелась нижняя солдатская рубашка с расстегнутой верхней пуговицей, сидела Екатерина Великая и писала письмо.

В палатке она была одна.

Я обвел взглядом все пространство этого временного жилища и понял, что она пришла с ночного дежурства, а подруги ушли на дневную смену. Все, кроме Клавы,

конечно. И тут, неожиданно, запинаясь, мой язык начал выдавливать слова:

— Я-я... те-бя...

Но вдруг замер, замолчал, а потом мой язык то же самое попытался выдать другими словами:

— Ты-ы... мне...

Она подняла голову, посмотрела на меня и без насмешки, но строгим голосом, с едва заметным оттенком сочувствия, остановила меня:

— Знаю.

Я увидел ее карие, как на Севере говорят, щучьи глаза. Замолк и лишь застенчиво улыбнулся. Как будто какая тяжесть свалилась с моих плеч: значит, знает. Это уже хорошо. Впрочем, не я один, наверное, тайно был влюблен в нее. Именно тайно. Явно признавались в любви многие. На войне только любят или ненавидят. Это я понял немного позже. Она перевела взгляд на листок бумаги на столике. Видно, еще не дописала. Потом снова посмотрела на меня, помолчала и тихо спросила:

— Срочное?

— Нет,— сказал я.

Тогда она указала на пустую коробку из-под патронов, служившую табуреткой. Я молча сел. И боковым зрением, не поворачивая головы, стал наблюдать за ней. И я увидел, как она чуть наклонила голову над листочком бумаги и мягкая прядь волос, извиваясь плавным овалом, закрыла ей щеку. И она опустила ресницы...

И я вспомнил, как она, почти около года назад, впервые появилась в расположении нашего батальона. Во время жуткого обстрела нашей позиции она шла по траншее, не обращая никакого внимания на свистящие пули и рвущиеся мины. И огонь противника, как будто сопровождая ее, огненным смерчем отступал перед ней, а вторая огненная лавина-завеса двигалась за ней, не догоняя и не перегоняя. Шла она, словно заколдованная.

Я услышал, как два бойца, два бывших студента, разговаривали между собой. Один боец, чуть высунув голову из щели и удивленно моргнув, сказал другому:

— Смотри, плывет, как царица!

Второй боец, глянул в ее сторону, выдержал паузу и сказал:

— И впрямь как Екатерина Великая.

— Явление Екатерины Великой,— сказал первый.

С тех пор к ней и привязалось это имя—Екатерина Великая. Мало кто знал ее по настоящему имени. Екатерина да Екатерина Великая.

Уже после обстрела в штабном блиндаже комбат Красильников перелистывал ее документы. Он читал и бормотал себе под нос. Я понял, что перед нами радистка с немалым стажем военных путей-дорог. Волховский фронт, Калининский. Первый Белорусский, второй. Первый Украинский, второй. Авиаполк, радиосопровождение истребителей. Наконец комбат отложил ее документы, внимательно глянул на нее и своим мягким и ровным голосом слегка пожурил новенькую:

— Что же вы, матушка, не бережетесь?

Она снизу вверх глянула на высокого и слегка сутулящегося комбата, помолчала, а потом сказала:

— Моя пуля еще не отлита.

Комбат с высоты своего огромного роста опустил на нее свой теплый, отеческий совсем нестрогий взгляд, снял очки, протер их и только потом протянул документы:

— Верно, на хорошего солдата нет пули.

Затем снял очки, протер их, снова водрузил на переносицу, словно еще раз хотел ее как следует разглядеть, и после паузы сказал:

— Однако все же сами берегите себя.

И приказал мне отвести ее к телефонисткам, к Клаве. По пути выяснилось, что мы с ней земляки. Она с Приполярного Урала, с реки Ляпин. И, возможно, даже на одном пароходе плыли по Иртышу до знаменитых Черемушек под Омском, где с первых дней войны начали формироваться маршевые роты и дивизии. Конечно, мы вспомнили дом, свою малую родину, свои деревни и города. И я почувствовал, как между нами протянулась ни-

точка, которая незримо связывает двух человек на основе симпатии и доверительных отношений.

Так появилась в нашем батальоне Екатерина Великая. Она ни с кем из девушек не дружила. Со всеми держалась одинаково ровно. Может быть, только чуть ближе, чем к другим, была к Клаве. И та как-то спросила про первый день, про ее явление в батальон, почему, мол, не спряталась от огня противника. И она призналась Клаве:

— Я большая трусиха.

— Так почему же не залегла в окоп?

— От страха.

— Тем более надо было падать в окоп.

Екатерина Великая помолчала немного, потом сказала:

— Наверное, побоялась помять форму. Я ведь с тыла прибыла, вся наглаженная, наутюженная...

— Стала бы я жалеть форму! — усмехнулась Клава.

Скуповатый на похвалу капитан Красильников оценил ее работу одной фразой:

— Если нужно будет, установит связь с самим Господом Богом...

Между тем весть о новенькой в батальоне, мгновенно облетела все роты и взводы. На фронте, в обрыдлой окопной жизни — в холоде и голоде, в грязи и дерьме — это большое событие, это что-то интересное, необычное. Что-то из далекой мирной жизни.

В те дни первым пред новенькой предстал, конечно, Лева Левенко, старшина роты связи, мой приятель. Невысокого роста, худощавый, совсем неприметный хохол из Керчи. Внешней отличительной чертой были у него разве что только огромные, как у матерого таракана, усищи да огромный нос на землистом, окопного цвета, лице. Был похож не столько на рослого украинца со шматом сала в руке, сколько на бедного турка из какой-нибудь сельской глубинки. Но малый разухабистый, бесшабашный весельчак, непревзойденный врун и болтун и тому прочее. Был не дурак выпить, хорошо закусить и, конечно, приударить за женщинами. Он придумывал всякие

байки, писал стихи, сносно играл почти на всех музыкальных инструментах. Этакий рубаха-парень. Сам же сочинял к своим стихам музыку и сам же пел их обычно под гитару. Словом, был первым сердцеедом среди солдат. Не мог пропустить ни одной юбки. Любил он прекрасный пол, но и женщины не обделяли его своим вниманием. Пожалуй, чуть ли не вся женская половина роты прошла через него. Да что роты, может, и батальона.

По прошествии лет я понял, почему его любили женщины. Он жил одним днем. Точнее, одним мгновением, и никогда не заглядывал в завтрашний день. И этим был счастлив. Наверное, правильно делал. Так и надо жить на войне.

И на сей раз проворный Лева с гитарой первым подкатился к новенькой. И, ничего не успев еще сочинить для нежных ушек Екатерины Великой, из своего репертуара вытащил старую свою песенку про катюшу, легендарный гвардейский миномет. Лева лихо ударил по струнам, запустил свою песенку:

Приходил к Катюше Риббентроп,  
Говорил, что ему дурно,  
Дурно, дурно,  
Выражался нецензурно,  
Зурно, зурно...  
Ах, зачем нас мама родила?..  
Дела, дела!..

Уже на ходу, раздухарившись, закатывая глаза, прожигая горящим взором новенькую, Лева сочинял к старой песне новые куплеты:

Приходи, Катюша, ты ко мне,  
Ко мне, мне, мне...  
И нам будет все очень гарно,  
Гарно, гарно...  
Заживем мы с тобой ударно,  
Дарно, дарно...

И так далее. Всех слов не помню. Но, однако, как ни крутился вокруг новенькой, получил мой друг Лева от ворот поворот. Выругался незлобиво:

— Ничего в жизни не понимает. У-у, дура!..

Лева мог тешить себя лишь тем, что не только он получил от ворот поворот. Но и все офицеры роты и батальона. Ни один не удостоился внимания новенькой. Надо сказать, что на войне женщины в основном доставались командирам, офицерам — лейтенантам, капитанам, майорам. Одни становились сразу же ППЖ, другие переходили из рук в руки, третьи, редкие, романтично влюблялись и берегли свою любовь. Я никогда не осуждал женщин войны. Ни на войне, ни после войны. Когда стоишь на расстоянии одного шага от смерти, то есть тебя одно мгновение отделяет от жизни и смерти, все вокруг тебя обретает иные, новые очертания. Совсем по-иному начинаешь оценивать то, что имеешь. Я понимаю молоденьких, почти совсем зелененьких девчонок, которым хочется кого-то полюбить. Быть может, завтра тебя убьют и ты умрешь, так и не узнав, что такое любовь. А ты чувствуешь, что она ходит где-то здесь, совсем рядом, совсем близко. Только надо найти ее, прикоснуться к ней. А тебе отпущено времени, быть может, совсем немного. Поэтому спеши, не упускай своего. Упустишь, потом пожалеешь. Возможно, если останешься в живых, будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Такова жизнь на войне. Такова жизнь в окопах.

— После Левы не только младшие офицеры, но и старшие получили отставку у новенькой. Все попытки поухаживать за ней заканчивались полным провалом. Подполковнику из штаба полка, захотевшему поухаживать за ней, она левитановским голосом, каким тот зачитывал когда-то приказ № 227, который известен как приказ «Ни шагу назад», она отчеканила:

— Я

не

ваша.

И тот оставил ее в покое.

Другому полковнику, из дивизии, она тем же левитановским голосом выдала:

— Вы  
не  
мой.

И дивизионный полковник тоже отступил.  
Между тем Лева Левенко пытал Клаву:

— Кто у нее есть?

— Никого,— отвечала Клава.

— Откуда знаешь?

— Письма она пишет только маме. И получает только от мамы.

— А для кого бережется?

Клава пожала плечами:

— Спроси у нее.

Вскоре слух о ней прошел не только по батальону, но и по полку, по дивизии. Быть может, и по армии. Что, мол, у комбата Красильникова появилась какая-то неприступная. Разве что генералы еще не пытались поухаживать за ней. И то однажды генерал в неформальной обстановке, за чаркой, спросил у Красильникова:

— Что у тебя там за чудо появилось?

На что комбат ответил четко по-уставному:

— Никаких чуд у меня нет, товарищ генерал. Есть отличный боец и классный специалист.

— Как-нибудь хоть показал бы,— сказал генерал.— А то заинтриговал тут всех.

— Как только, так сразу же, товарищ генерал.

Но этого «как только» так ни разу и не наступило: генерал был слишком занят. Да и женщины его окружения зорко следили, чтобы не допустить в близкий круг его общения посторонних конкуренток. В любви женщины завистливы и просто безжалостны друг к дружке. Злые женские языки пустили молву, что никакая она не недотрога. Мол, новенькая на Севере была радисткой на полярной станции и за длинную полярную зиму обслуживала исправно всех зимовщиков. А теперь ей ничего не надо, мол, пресытилась всем.

Но я-то знал, что она никогда не ездила на зимовку. А работала на рации на культбазе в отдаленном селе, в предгорьях Урала. Но на каждый роток не накинешь платок.

Всех она отшила. Один только Лева Левенко не падал духом до поры, до времени. Все хорохорился, говорил:

— Нет неприступных женщин, как и нет неприступных крепостей.

Выдержав многозначительную паузу, как великий стратег и полководец, он начинал размышлять вслух:

— Главное дело — разведка. В любом деле надо знать все. Сначала все разведать, а потом взять. Не измором, так хитростью. Не в лоб, так с тыла.

И однажды он решил, видно, заставить крепость врасплох. Когда новенькая после дежурства спала, а из подруг рядом никого не было, влез к ней в постель, полагая, что внезапность и напор обеспечат ему успех. Но тут же вылетел в двери.

Дело было под вечер, накрапывал мелкий занудный дождь. Земля намокла. И незадачливый ухажер прокатился по скользкой мокрой глине и очутился под ногами проходившего мимо комбата Красильникова.

Комбат, не поверив своим глазам, снял очки, не спеша протер их, потом осмотрел внимательно Левенко, сидевшего у его ног в исподнем, и удивленно спросил:

— Что же вы, братец, тут катаетесь?

— Да вот шел, споткнулся и покатился,— быстро придя в себя, уверенно начал врать Левенко.

Он знал, что в любой ситуации перед командиром нельзя молчать, а нужно смотреть ему в глаза и говорить уверенно и убедительно.

— А почему в исподнем?— спросил комбат.

— Так ведь отдыхал, потом вышел подышать воздухом,— сказал, уже поверив в свои слова, браваый кавалер Лева.— А потом решил сходить до ветру.

— Без верхней одежды?— поинтересовался комбат.

— Без верхней,— кивнул Лева.

Тут вслед за ним вылетели его гимнастерка, галифе и сапоги. Лева сгреб их в охапку и радостно сообщил:

— А вот и моя одежда.

— Вижу,— сказал комбат.

— Разрешите идти?— Лева уже стоял перед командиром со своей одеждой под мышкой.

— Ну-ну,— сказал комбат.— Идите.

Лева тут же мгновенно испарился, как сквозь землю провалился. Комбат даже повертел головой: а был ли тут старшина Левенко? Может, все это ему привиделось?

На какое-то время Левенко стал объектом насмешек среди бойцов. Все, при любой возможности, подначивали:

— Лева, расскажи, как ты брал крепость?

— Лева, пойдем, сходим на разведку!

— Лева, научи, как взять крепость.

Лева незлобиво рычал:

— У-у, зараза! Ни себе, ни людям!..

Тут бойцы-зубоскалы снова цеплялись к его словам:

— Это каким людям?

— Лучше скажи, Лева: ни себе, ни мне.

Лева соглашался:

— А хотя бы так. Все равно— зараза!

Лева был незлобив. Как и всякий сердцеед и бабник, он легко сходился с женщинами. И легко же с ними расставался. Не было у него сердечных привязанностей.

Так началась служба новенькой в нашем батальоне. Теперь звали ее то Новенькая, то Екатерина Великая, то просто Явление.

...А сейчас она опустила ресницы, дописала еще несколько строк и треугольником сложила лист, надписала адрес. После вопросительно посмотрела на меня. Я поднял голову и не по-уставному, а по-житейски просто сказал:

— Татьяна, Сан Саныч просит собрать вещи Клавы.

— Хорошо, я потом соберу,— сказала она и после паузы добавила:— Личных-то вещей: мамины письма да карточка любимого...

Я встал, потоптался на месте, собираясь уйти. Но не уходил. Она смотрела на меня. И я почувствовал: она еще что-то хочет сказать. Между тем она своим привычным, присущим только ей, движением левой руки, одним большим пальцем откинула прядь волос в левую сторону. Затем таким же манером, тоже одним большим пальцем правой руки отвела прядь волос назад, в правую сторону. И только потом тихим и нежным голосом сказала:

— Иди, Алеша...

Я сразу понял, куда надо идти. Я подошел к ней. Она уткнулась лицом в меня и обняла меня за талию. Я же уткнулся лицом в ее волосы и вдохнул в себя их аромат. Удивительное дело: они пахли не войной, а мирным лесом, мирной водой, мирным небом. Словом, пахли миром и жизнью. И я задохнулся этим запахом. Задохнулся запахом ее губ и ее тела. И это было самое бесконечно длинное мгновение в моей жизни. Это была самая длинная часть моего земного бытия, моей земной жизни. В этом была вся моя разумная жизнь...

Но все имеет конец. Всему есть предел. Потом уходил. Уходил медленно. Уходил долго. Уходил мучительно. Наконец дошел до дверей. Я не отводил от нее глаз. И я растягивал и растягивал это последнее прощальное мгновение. И тут она сказала обыденно просто:

— Меня не будет.

Я остолбенел у выхода из палатки. Моя правая рука, вытянутая вперед, так и не успела прикоснуться к полоске-двери и застыла на весу. Я смотрел на девушку через левое плечо. Мы с ней встретились глазами. И в ее черных очах уловил и удовлетворенность определенностью судьбы и неосознанную тоску по земной жизни.

— Это правда,— добавила она.— Иди...

Я сразу понял, что это правда. На войне люди по-разному воспринимают смерть. Одни безошибочно чувствуют ее приближение или неизбежность, а для других она приходит совершенно неожиданно.

Она снова повторила свое слово:

— Иди...

В этом слове было столько одновременно и нежности, и мольбы, что я наконец вышел из палатки. Нет-нет, говорил я себе. Она не может умереть. Она будет. Она еще долго будет на земле.

Вышел из палатки, как будто из другого, нежного и прекрасного мира, и жизнь сразу закрылась по правилам военных фронтовых будней. Мы с командиром поехали в штаб полка, куда его вызвали на какое-то совещание. Оттуда отправились в штаб дивизии. Потом заехали в полевой госпиталь, чтобы разыскать Клаву, но уже не застали — ее отправили в тыл. И вернулись в расположение батальона поздно вечером.

Меня встретил мой приятель Левенко, подозрительно мрачный и бледный, тихо сказал:

— Пошли.

Я молча последовал за ним. Он вывел меня на опушку леса, к большому дубу, показал на свежий холмик земли с крестом, тихо сказал:

— Погибла.

— Как?! — выдавил я из себя, не веря своим ушам.

— Снаряд. Прямое попадание.

— Когда?

— Днем.

И он рассказал, что она спала, одна, после дежурства. Прилетел шальной снаряд. Непонятно, чей. То ли немецкий, то ли наш. Прямое попадание. Погибла только она, одна. Спала, может быть, и не проснулась. Возможно, ничего не почувствовала. От места палатки осталась одна большая воронка от снаряда. Все, что могли собрать после разрыва снаряда, тут, под крестом.

Я, наверное, долго стоял в оцепенении, потом хрипло, еле слышно выдавил Леве:

— Иди.

И он молча протянул мне фляжку и молча же ушел. Потом я уже сообразил, что он ушел, не сказав своих обычных слов «ни себе, ни людям». Я остался один на

один со свежим холмиком земли. Я не раз видел прямое попадание и знаю, что остается от человека после него. Налил из фляжки в кружку, поставил на холмик и рядом опустился на землю. Посидел молча.

Ночь опустилась на землю, и было необыкновенно тихо. Как будто не было войны. Я ничего не чувствовал, кроме огня, сжигающего меня изнутри. Не было ни тела, ни мыслей. Ничего. Только испепеляющий огонь. Огонь съедал меня.

Я выпил из кружки спирта. Потом налил и снова выпил. После второй кружки вроде огонь немного поутих.

Еще посидел молча. Потом налил и выпил в третий раз. И тут мне захотелось плакать. Но слез не было. Ни капли. И оттого что я не мог плакать, опять стало горько и тяжело.

Сколько времени так бездумно просидел — не знаю. Может быть, очень долго. А может быть, всего несколько мгновений. Когда, наконец, очнулся, машинально взял автомат и разыскал в темноте воронку на том месте, где стояла ее палатка. Воронка была похожа на окоп.

Лег, как мне казалось, на то место, где лежала ее постель. Голову положил на приклад автомата. Сначала смотрел на черное небо, где ничего не было видно. Ни звезд, ни луны. Потом закрыл глаза. Пахло сырой землей, водой и тротилом. Пахло войной. Я чувствовал, как по стенкам воронки-окопа каплями стекала влага и собиралась на дне, в неровных углублениях. Я знал, что ее разорванное на клочки тело и ее душа где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. Мне хотелось, чтобы ее тело и душа вернулись ко мне, сюда, на это место, где мы с ней виделись и расстались утром. Ждал, чтобы вернулись ко мне, к мертвому или живому. Это все равно. Это никакого значения не имело. Я чувствовал, что мы рядом, мы близки. Мы очень близки. Но что-то все не давало нам воссоединиться, прикоснуться друг к другу.

Тогда я не понимал, что мы уже находились в разных мирах. И не могли воссоединиться. Никак не могли. Мне

надо было перейти в ее мир. И тогда бы все стало просто прекрасно.

Так в томительном ожидании воссоединения я впал в забытие. И очнулся только утром, когда сырой туманный рассвет кое-как дополз до земли, до меня, до моей воронки-окопа.

Война продолжалась. И теперь, очнувшись, придя в себя, я понял, что должен пойти и догнать ее в потустороннем мире, куда она ушла преждевременно и без меня. И я лез в самое пекло, в самую жуткую жуть войны, чтобы меня поскорее убило. Но удивительное дело: смерть меня обходила. Я стал почти героем. На меня посыпались боевые награды. Особо ценились на фронте медаль «За отвагу» и солдатский орден Славы. Я их тоже получил.

Тут и война подошла к концу. И меня не успели убить... Правда, перед самым концом войны меня ранило. Нет, не убило, как я хотел, а только ранило. Перебило осколком нос. Рваный след остался. И в левое плечо ранило, сухожилия перебило.

Победу встретил в Москве, в тыловом госпитале. Выжил, инвалидом третьей группы стал.

Вернулся домой в Ханты-Мансийск. Участок дали, дом построил. Потом женился. На хорошей, доброй женщине. Она мне двух сыновей родила. Потом она умерла.

После войны одно письмо от неунывающего Левы приходило. Писал, что жив и здоров, писателем собирался стать. После моего ранения он до Берлина дошел, логово фашистское брал. Как взяли столицу третьего рейха, так командование дало армии три дня на отдых. Три дня творили все, что хотели. Лева, как теперь говорят, оттянулся по женской части. Немки, пишет, слабы на передок. Особо не сопротивляются, только все говорят «кранк да кранк». А для солдата-победителя какой там «кранк», давай-давай скорей в какой-нибудь закуток. По этой части он поймал заразу, вернулся домой, долго лечился. Я так и не ответил ему. Житейские заботы и дела замотали, не до писем было.

В последние годы я в педучилище работал, лаборантом кабинета физвоспитания. Лыжи на уроки выдавал. И другой спортивный инвентарь. Тут в основном девчонки учатся. Молодые, красивые. Смотрю на них, вспоминаю свою фронтовую подругу. Которая из них похожа на нее?! В ком она снова вернулась на нашу землю?! Вернулась ли? Может, навеки в том мире осталась, ждет меня. Ждет меня, неразумного, не сумевшего погибнуть вслед за ней на той проклятой войне.

А то, бывало, приснится, что лежу в воронке-окопе и зову свою подругу. Чувствую, что она тут, где-то совсем рядом, а прикоснуться к ней не могу. Становится мучительно больно. Жуть меня берет. И проснуться не могу, и до нее дотянуться не могу. И она ко мне тянется, тянется. Да тоже дотянуться не может. Вот так и живем в разных мирах, мучаемся.

Впрочем, все мы в окопах живем.

Поздним сентябрем он попросился со мной на рыбалку на слияние Иртыша и Оби. Подышать воздухом и посидеть у костра. Мы посидели у костра, выпили, вспомнили его фронтовую жизнь. Потом он лег на покатый склон поросшей мелкой травкой сухой ямы-промоины, похожей на воронку-окоп военных времен, подставил скупому осеннему солнцу лицо и будто задремал. И тихо умер. Я закрыл ему глаза и подумал, что наконец-то он воссоединился со своей подругой, встречу с которой ждал почти полвека. Теперь он счастлив, ему светло и покойно.

*Ханты-Мансийск,  
24 апреля 2005 года*

# ПАРИЖАНКА

*Рассказ*



---

Я в Париже:

Я начал жить, а не дышать.

*Иван Дмитриев,  
русский поэт XVIII—XIX вв.  
Журнал путешественника*

Как только он услышал по телефону голос Вирджинии, то сразу же понял: с нею что-то происходит. Она все говорила и говорила и никак не могла остановиться. А он терпеливо слушал. Она говорила так быстро, что он не мог уловить паузу и вставить слово. А перебивать ее речь было с его стороны совсем не вежливо. И он не решался сделать это. Наконец ему все-таки удалось влезть в секундную паузу и сказать, что приедет через неделю. И тогда, если она будет в Париже, хотел бы с ней проговорить кое-какие творческие вопросы. Речь шла о переводе его новой книги.

— О, да, конечно,— быстро сказала она.— На сколько приезжаете?

— Почти на две недели,— сказал он.

— А программа у вас в Париже есть?

— Есть. Конференция, потом свои дела...

— Я буду дома. Никуда не поеду.

— Рад буду с вами поговорить.

— Я никуда не еду. Как приедете— сразу позвоните.

— Непременно постараюсь позвонить.

Тут они попрощались. Он еще подержал в руке телефонную трубку, выжидая, пока она договорит свою фразу и отключится ее аппарат.

Приехав в Париж, он позвонил не сразу. Набрал ее номер на четвертый день, под вечер. Она сама взяла трубку и, услышав его голос, как ему показалось, обрадовалась. Во всяком случае, тембр ее голоса приятно зазвенел, и она весело спросила:

— А-а, вы уже приехали?

— Приехал.

Она стала расспрашивать его о дороге. Как он доехал, сколько ехал, каким путем ехал. В каком отеле остановился. Он коротко рассказал. Потом она напомнила о его недавнем звонке и предложила поужинать у нее дома, на следующий день, в 19 часов, если у него нет других планов. Он поколебался немного и сказал, что, может быть, следует сходить на ужин в ресторан или кафе, чтобы не стеснять ее. На что она ответила, что ей удобнее как раз устроить ужин дома. Он посмотрит ее дом. А заодно познакомится с ее мужем. Ему возразить было нечего. Тогда она продиктовала адрес и потом обстоятельно объяснила, как разыскать ее дом. Он выйдет из отеля и пойдет по площади направо. На первой же улице повернет направо. Пройдет два квартала и по небольшому переулку повернет налево. Выйдет на большой проспект, перейдет его и сразу повернет направо. И по ходу, с левой стороны, пройдет немного и увидит номер ее дома. Можно, конечно, заказать такси. А можно прогуляться пешком.

— Это совсем недалеко от отеля, где вы остановились,— в конце разговора добавила она.

На другой вечер он не стал вызывать такси, а отправился в гости пешком.

Был сырой сентябрьский вечер. Низко над городом висели облака. Казалось, если взобраться на крышу отеля, то можно к ним прикоснуться. Небо застыло будто в глубоком раздумье: просеять на улицы и дома мелкий бисерный дождик или пощадить редких прохожих.

Он застегнул на все пуговицы плащ, поглубже натянул на голову берет и не спеша направился в сторону ее дома. Шел и все думал-гадал: пойдет дождь или не пойдет, как будто от этого зависело что-то важное в его жизни. За размышлениями не заметил, как добрался до дома, где она жила.

Он остановился у высокой ажурной ограды из железных прутьев. Постоял у калитки, огляделся, как бы

запоминая все вокруг. Потом открыл легкую железную калитку и вошел во двор.

Перед ним возвышались три высокие внутренние стены П-образного дома, похожего скорее на замок позднего Средневековья. Он напоминал темно-бурые своды древней пещеры, где жили наши предки на заре человеческой цивилизации. В слабом отблеске уличных фонарей и бледного света из немногих светящихся окон он казался особенно древним и таинственным.

Небо лежало прямо на крыше дома.

Вдоль левой стены по мокрому тротуару он прошел вглубь двора, оглядывая слабо освещенные подъезды. Наконец разыскал нужный номер, постоял немного. Потом набрал по памяти цифры кода входных дверей и шагнул в подъезд.

Ноги его ступили на красный ковер, который привел к лифту. Он остановился у лифта и огляделся. Такой же красный узкий ковер, извиваясь змейкой на ступеньках, уходил по лестнице на верхние этажи дома. Подъезд чистый, ухоженный. Ни соринки, ни пылинки. Небольшая электрическая лампочка под высоким потолком матово-бледным, неярким светом стыдливо освещала все пространство перед лифтом. «Не слишком ли я назойлив?» — казалось, спрашивал свет, падающий на человека.

Он решил, что наверх поедет на лифте, а вниз потом спустится по красному длинному ковру.

Лифт показался ему очень маленьким. Человека на два-три. Ну, от силы на четыре. И он понял, что дом старинный. Он был спланирован и построен без лифта. А потом уже в лестничные пролеты втиснули это более позднее, чем сами многоэтажные строения, изобретение человечества. Он нажал на кнопку шестого этажа. Лифт бесшумно тронулся.

Когда вышел из лифта, сразу напротив увидел нужную дверь. Дверь ее квартиры. Он остановился. Но на кнопку звонка не успел нажать. Дверь тихо распахнулась — и он увидел на пороге ее, Вирджинию. Она, улыбаясь, весело сказала:

— Я рада видеть вас! Проходите! Здравствуйте!..

Он перешагнул порог и снял берет с головы. Потом взял ее за протянутые к нему руки и хотел поцеловать в щечку, но она подставила губы. И он сухими губами прикоснулся, вздрогнув от неожиданности, к ее полуоткрытым губам. После подумал: значит, у них так принято. А еще пришла мысль: с ней что-то происходит.

Он вручил ей букет поздних, без аромата, но очень красивых парижских цветов. Она приняла букет, чуть наклонила голову, поднесла цветы к лицу и вдохнула в себя их уличную свежесть. А потом повела головой к правому плечу и сказала:

— Знакомьтесь: это мой муж, Джулиан.—И тут же добавила:—Он по-русски не говорит. Но это ничего: я ему помогу говорить.

Из-за ее плеча выступил светловолосый мужчина, церемонно поклонился, затем с доброжелательной улыбкой протянул гостю руку. Вирджиния сказала мужу:

— Это наш сибирский друг Джереми, сегодня наш гость. Я тебе говорила о нем. Ты его знаешь.

В дружеском кругу, особенно в англоязычных странах, его называли более понятным на западе и за океаном именем Джереми. Он к этому уже давно привык.

Джулиан сказал:

— Очень рад. Я вас знаю. Читал.

При последнем слово «читал» хозяин покосился на жену: мол, сами понимаете, что читал в ее переводе. Гость кивнул в знак благодарности. Вирджиния была первой среди переводчиков, кто подготовил к публикации его рассказы на французском.

— Спасибо,—сказал он.—Я тоже рад познакомиться с вами.

Он снял плащ, и его провели в гостиную. Два окна, между ними черный кожаный диван. Перед ним низкий столик. По краям два глубоких кресла, тоже обтянутых черной кожей. Картины на стенах. Большой книжный шкаф, в котором золотом отсвечивали кожаные коричне-

вые переплеты толстых книг и, судя по виду, старинных фолиантов. Тумба с напитками для аперитива и двумя или тремя тарелочками с орехами.

В гостиной его усадили в глубокий черный диван, и Вирджиния спросила, что он будет на аперитив. Обычно он предпочитал красное вино или виски. Но сейчас заказал «что-нибудь типично французское». И хозяйка предложила ему попробовать вино старинной марки из какого-то южного департамента страны. Он согласно кивнул. Ему дали в руки посмотреть бутылку с этим известным во Франции вином. Он не считал себя знатоком вин, но для приличия повертел бутылку в руках, посмотрел на этикетку и передал Джулиану. Джулиан налил темно-красного напитка в бокалы. Все пригубили. Вино было приятным. За овальным столиком перед диваном расположились треугольником, на небольшом расстоянии друг от друга. Вирджиния сидела в кресле слева от гостя, а Джулиан занял место справа.

До аперитива говорила в основном одна Вирджиния. Говорила по-русски. Только изредка произносила несколько коротких фраз для тихого и незаметного Джулиана на французском. Она занимала гостя и сейчас, изящно покачивая бокал с вином в правой руке, спрашивала:

— Вы в Париже в первый раз?

— Да. И вообще, во Франции ни разу не был.

— Я знаю, что вы много путешествовали.

— Да, но только почти все по странам Северного полушария.

— Так любите Север?

— Наверное, это так. Люблю зиму, белые снега и льды. На Севере всегда очень чисто и светло.

— Но ведь холодно?

— К холоду можно привыкнуть. Когда долго живешь на Севере, перестаешь замечать холода и морозы.

— А Париж вас никогда не интересовал?

— Конечно, интересовал. Например, хотелось посмотреть на Париж глазами Хемингуэя. Он с большой любовью писал о Париже.

— Да, это так. Прав Папа.

— В первый же вечер мы с приятелем пошли в кафе Дё Магу, где часто он бывал. На стене там еще есть его фотография времен Второй мировой войны. С дамой, в униформе. Знаете, конечно, это кафе. Поговорили с официантом. Совсем молоденький парень. Папу, конечно, никто не помнит. Сначала мы выпили пива. Потом еще чего-то. Словом, выпили очень крепко.

Она улыбнулась и спросила:

— И к вам явился сам Папа?

— Да, верно. Мы еще выпили. И стали болтать о том, о сем. Словом, обо всем.

— И что же сказал вам Папа?

Он на мгновение задумался, потом с улыбкой сообщил:

— Он сказал, что вы, ребята, в общем-то, симпатичные и умные, все знаете, но такие скучные, такие скучные!.. Еще сказал, что Америка сходит с ума, а старушка Европа совсем одряхлела и потеряла совесть и разум.

Оба немного помолчали, потом она спросила:

— Кто же тогда при уме и совести?

— Россия, конечно. Так он считает.

Она чуть помедлила, а потом сказала:

— Я согласна с ним.

— С ним трудно не согласиться.

Джулиан смиренно сидел в своем кресле и молча слушал. Время от времени он вставал, выходил из гостиной и вскоре возвращался. Наконец, вернувшись, он сказал несколько слов жене, и она сказала:

— Джулиан приглашает нас на ужин. Ужин готов.

Он встал, и его провели в другую комнату, в столовую. Почти всю столовую, от двери до окна занимал довольно длинный стол под белой скатертью. Вирджиния расположилась у окна, на торце стола. Ее муж, стоя за ее спиной, придвинул стул с высокой спинкой, и она плавно и мягко, словно королева, опустилась на сиденье. А гостя она усадила по левую руку от себя. Джулиан занял место на другом конце стола, у дверей. На столе

были салаты, сыры и красное вино. Выпили. Гость не считал себя знатоком вин. Но французские красные вина он любил. И это вино ему понравилось. Оно было терпкое, хорошей выдержки.

Выпив, он поставил бокал и, наклонив голову к столу, близко увидел грудь Вирджинии. Она была одета в прозрачное черное вечернее платье, под которым тоже было черное прозрачное белье. И под всем этим, как ему показалось, просвечивала грудь с твердыми маленькими сосками и коричневыми, почти с медный пятак, кружочками вокруг них. Он смутился и быстро поднял голову. И огляделся. Но, кажется, его случайного взгляда и смущения никто не заметил. И он успокоился.

Вирджинию нельзя назвать красавицей, но на нее приятно было смотреть. Стройная, высокая, тонкая. Почти прозрачная, словно капелька воды из родника. Волосы такие длинные и черные, кажется, чернее не бывает. И брови черные, тонкие, длинные и очень подвижные, реагирующие на каждое его слово и малейшее движение. Но самыми выразительными на ее лице оставались глаза. Это два, с опять очень черной водой, огромных округлых озера, мечущие искры черного огня. Несомненно, в ней было что-то такое, необъяснимое, мистическое, мифическое, колдовское. Но, однако, при всем этом она не вызывала у него тревоги. В ней теплое и завораживающее было сильнее, чем непонятное и непостижимое.

Между тем за ужином все шло своим чередом. Джулиан, кажется, исполнял сегодня обязанности официанта и повара. Он встал, степенно удалился из столовой и вскоре возвратился с большим блюдом с запеченной аппетитной говядиной. Каждый сам себе отрезал кусок.

Мясо было сочным, с красной сукровицей внутри. Оно было приготовлено так, как обычно предпочитал гость. Он не был гурманом и пище не придавал большого значения. Но в Канаде, в Оттаве, где он часто бывал, в ресторанах всегда интересовались, как приготовить мясо — слабо или хорошо прожаренное. Там он и при-

вык к таким мясным блюдам. А сейчас невольно подумал про Вирджинию, откуда она знает его вкусы. Ведь встречались всего два-три на больших международных форумах, где общались очень мало, между делом, в извечной суете и дефиците времени.

Говорили в основном они с Вирджинией. Об парижских и сибирских общих знакомых, о литераторах, о народной музыке, о коренных народах сибирского Севера и о многом другом. Он рассказал, что уже успел посетить в Париже. Это, конечно, Нотр-Дам. Конечно, Лувр. Версаль. Пожалел, что познание мира начал не с Парижа, не с Франции. Ну, да ладно, все теперь будет исправлено. Да, прав Хемингуэй: это настоящий, истинный Праздник. Праздник каждодневный. Праздник ежеминутный. Праздник ежесекундный. Много посмотрел с друзьями. Только вот еще в Булонском лесу не был.

Тут он увидел, как у Вирджинии брови поползли вверх. Она непроизвольно переспросила:

— В Булонском лесу?!

— Ну, да...

— А что...— Она не договорила фразу и смолкла.

Он понял, что нужно объяснить свой интерес к этому таинственному лесу.

— Да еще в школе, на уроке истории мне запомнился Булонский лес. Историк рассказывал, что там в Первую мировую войну подписали договор о мире или перемирии. Меня, помню, тогда заинтересовал вопрос: почему договор подписали не в городе, а в лесу? Чем же этот лес так знаменит?..

— А-а-а... — сказала Вирджиния.

И он увидел, как опустились ее брови: она была удовлетворена ответом. Но он почувствовал, что попал впросак. Впрочем, в дружеском кругу всегда с пониманием отнесутся к различным недоразумениям. Или сделают вид, что не заметили твою оплошность. С тех пор как много стал общаться с людьми и путешествовать, он сформулировал несколько простых житейских правил. Первое. Никогда не

ездите в те страны, где у вас нет друзей. Второе. Не ходите туда, куда не получили приглашения. Третье. Держитесь подальше от малознакомых женщин. Четвертое. Если вы приняли приглашение, то нужно, как это делают американцы, всюду чувствовать себя как в своем доме; ибо планета Земля одна, и она является домом для каждого ее жителя. И сейчас, улучшив момент, когда хозяйка вышла, он решил выяснить у Джулиана, что же такое есть в Булонском лесу. Ответ Джулиана слегка обескуражил его:

— Там женщины... как это... нетяжелого дела... нет, тела...

Он смущенно кивнул:

— А, понятно...

Помолчали немного. Он искоса взглянул на Джулиана. Тот совсем не был похож на типичного, в его представлении, француза. Все они, как это принято считать, экспрессивные, легкомысленные, любвеобильные. Все они, любящие только шампанское, лягушек и женщин, с завидной легкостью проходят по жизни. Но застенчивый и добродушный Джулиан, похоже, был совсем из другого теста. И тот деликатно перевел разговор на другую тему. Кивнув на дверь, за которую вышла Вирджиния, он негромко сказал:

— Это моя муза.

— С такой музой надо создавать только шедевры,— сказал гость, с улыбкой глянув на дверь.

— О-о, да,— закивал Джулиан в знак согласия.

Он, гость, слышал от парижских друзей, что Вирджиния вышла замуж не так давно. У Джулиана это вторая семья. Он вдвое старше своей жены. Что их связывает, трудно догадаться. Чужой дом—потемки. Чужая семья—тоже потемки. Может, она и в самом деле нужна Джулиану как муза. Не жена, а муза. Муза вдохновляющая. Без музыки в творчестве совершенно нечего делать. Уж шедевра без музыки точно никогда не сотворить.

Вернулась Вирджиния. Окинув взглядом стол и мужчин, она королевой опустилась в свое кресло с высокой

спинкой. Она как бы молча спрашивала, не скучал ли кто в ее отсутствие. Мужчины за столом сразу оживились.

Гость перевел взгляд на тихого и неприметного Джулиана и спросил через Вирджинию:

— Бывал ли Джулиан в России?

Услышав вопрос, Джулиан поднял голову, оживился, глаза его заблестели, и он в своей обычной манере, не спеша, растягивая слова, сказал:

— О-о-о, Россия!.. О-о-о, русские!..

Произнес он эти слова с большим уважением и одновременно с изумлением. Он помолчал немного, а потом рассказал, как ездил в Россию. Побывал там два раза. За две поездки сделал два документальных фильма. В первый раз прилетел в Москву, позвонил друзьям, встретили. Пригласили на ужин. На вечере все такие хорошие слова произносили, все так искренне и тепло говорили, что он выпивал за каждый тост до дна. А потом что было — не помнит. Очнулся утром, в отеле, на своей постели. Кто его привел, кто заботливо раздел-разул и уложил на кровать, так и не узнал. Во второй раз, когда поехал в Россию, подумал: теперь буду умнее. Так же встретили друзья, так же пригласили на ужин. Так же говорили красивые и умные слова. Но теперь Джулиан пил только за каждый второй тост. И опять, провалился в бездну. Очнулся только утром, в постели...

Но Джулиан все равно остался доволен поездками. Все-таки сделал два хороших документальных фильма. Это очень даже неплохо, если учесть то обстоятельство, что разобраться в российской действительности не так-то просто в наше сумбурное время.

Гость улыбнулся. Да, у нас народ гостеприимный, хлебосольный, искренний. Все-таки приятно, когда хорошо говорят о твоей родине. Он давно заметил, что чем больше едешь по дальним заграницам, тем дороже становится твоя собственная страна. Чем дальше ты от своей родины, тем она тебе дороже. И он подумал, что была бы большая польза, если не всех — ведь всех невозмож-

но, хотя бы доброй половине россиян дать возможность проехать по заграницам. Чтобы вдали от отчего дома, вдали от тепла материнских рук они каждой клеточкой своего тела ощутили, как прекрасна и неповторима земля, на которой родились и выросли.

Сколько он ни встречал россиян в сытых и благополучных странах, внешне они выглядели вполне обеспеченно и благопристойно, но у большинства в глубине глаз всегда таилась неизбывная тоска по утраченному Отечеству. В любой чужой стране они никому не нужны. Любая чужая страна вполне может прожить без них. Там не могут быть они в полной мере счастливыми. Как все-таки прав был Пушкин, когда без малого два столетия назад написал: «Два чувства дивно близки нам—В них обретает сердце пищу—Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам...» Если даже от твоей родины остался один пепел, остались одни гробы, то ты все равно обязан... Родина—это святое.

Он заметил, что его западные друзья никогда не ругали при иностранцах и за пределами своего отечества свою страну, руководителей и политиков своего государства. Это считалось дурным тоном. Если тебе чем-то очень досадили госчиновники, то ты можешь ругать их в хвост и гриву. Но делай это дома, в своей стране, в кругу своих соотечественников.

Но Россия сорвалась в бездну не то с 1917, не то с 1918 года, с расстрела русского царя Николая II и царских детей, царской семьи. Летит в бездну с той поры, как страной начали управлять, по известному выражению вождя революции, кухарки. А кухарка может управлять только с помощью тех средств, что есть под рукой. Что попадет под руку. Посредством кухонных приборов, ибо о других инструментах управления она не ведает. Ей кажется, что в критической ситуации все проблемы общества и государства можно решить только с помощью кухонного ножа. И она берет в руки кухонный нож и начинает орудовать им направо и налево. Первым пореши-

ли символ веры, народа и государства — царя и царских детей, потом всех остальных неугодных. Ибо, порушив символ, избавившись от него, стало возможным рушить все. Порушили деревню. Отняли и порушили землю. Вспомнились ему есенинские строки об этом: «...Прогнали царя — так вот Посыпались все напасти На наш неразумный народ». А напасти продолжают сыпаться по сей день. И будут сыпаться до тех пор, пока страна не восстановит вечный и непреходящий символ веры, народа, государства. Этим символом является царь, помазанник Божий. Стало быть, напасти будут сыпаться до тех пор, пока царь не вернется на трон. Он непременно вернется. Ибо всякое смутное время имеет пределы, имеет конец. Вопрос только в годах. Вернется, может быть, через четверть века, через полвека, через столетие. Но вернется. Другого исхода просто нет. Даже бесноватый либерал, ряженный в демократические одежды и бесцеремонно рвущийся к власти, с кухаркиным менталитетом ничего хорошего стране и народу не даст. Поскольку он озабочен только личными интересами, а не общенародными, не общегосударственными.

Помолчали. А потом сам собой возник вопрос, каким Джулиан видит будущее России. Джулиан призадумался, а потом в своей обычной манере сказал:

— Лет через десять — пятнадцать Россию ожидает глубокий энергетический кризис. Так на западе ученые-экономисты считают.

— Опять кризис?! Да мы из первого кризиса только начали выкарабкиваться. А тут новый нам предрекают. Кто это может достоверно предположить?!

— А кто мог предположить развал Советского Союза?

Ответ ясен: никто.

Но Джулиан сейчас выразился очень корректно. Он мог бы сказать, что никто не мог предположить, что трое пьяных и недалеких мужика одним росчерком пера развалят великую мировую сверхдержаву — СССР?! Похоронят систему социализма и всемирную и всемогущую

организацию пролетариев во главе с КПСС. Такое даже самому махровому антикоммунисту и антисоветчику Бжезинскому и во сне не снилось. А вот надо же, случилось. Стало быть, тому были причины и субъективные, и объективные.

Что ж, в жизни всегда хватало недоумков. Теперь все вынуждены довольствоваться плодами однополярного мира. Для одних это благо, для других это горе, для третьих — неминуемая гибель. А сами разрушители, никому не нужные, вскоре оказались на свалке истории, и теперь мало кто может вспомнить их имена.

Но гостя сейчас интересовал предполагаемый энергетический кризис. И он спросил:

— Что у вас говорят, какие причины кризиса?

У Джулиана ответ уже был готов. Он стал обстоятельно их перечислять:

— Первая: ваши, как вы их называете, олигархи не заинтересованы вкладывать деньги в развитие производства, вывозят свой капитал на Запад. Вторая: по нашим данным, высокая обводненность нефтяных скважин — до 80 процентов. Третья: основные месторождения нефти — в труднодоступных районах. Есть, и другие причины.

— Нам не вынести еще одного кризиса, — печально проговорил гость.

Тут все трое замолчали. Возможно, все задумались об одном и том же: как пережить кризис, если вдруг он свалится на голову. На человека, на народ, на страну, на континент. Наконец паузу прервала Вирджиния. Она что-то, почти скороговоркой, сказала мужу на французском, потом это перевела на русский язык:

— Я сказала: хватит о политике. Давайте лучше о чем-нибудь другом.

Джулиан согласно кивнул. После паузы поинтересовался у гостя:

— Что сейчас творите?..

— Можно сказать: ничего.

— Отчего же?..

— Как бы точнее сказать: миродвижение, что ли, остановилось. Все ломаем, к созиданию не можем приступить. Человечество, грубо говоря, погибает. Душа растоптана. Тело изранено. Земля разрывается.

— Я понимаю,— в своей обычной манере медленно-раздумчиво выражать мысли сказал Джулиан.

— Куда идем?..

Джулиан долго молчал, потом промолвил:

— Но ведь вы знаете, куда должно идти...

— Наверное, да.

— Это можно показать...

— Для этого нужен не вымысел, а реальный, живой идеал...

— Я понимаю... — сказал Джулиан.

Долго сидели молча. Потом Джулиан перевел взгляд на Вирджинию, помолчал немного, будто впервые увидел ее, и сказал ей несколько фраз по-французски. Она тотчас же перевела их: Джулиан откланивается, благодарит за вечер общения, завтра у него трудный день, заседает в жюри какого-то кинематографического конкурса.

Джулиан встал, пожал гостю руку и добавил:

— О вас позаботится моя муза.

Джулиан встал, улыбнулся на прощание гостю и вышел. Гость подумал: значит, у них так принято. Они остались вдвоем. Вирджиния подняла на него свои таинственно-черные, как два огромных озера, глаза и спросила:

— Еще кофе? Еще коньяк?

Ему не хотелось уходить сразу. И почти автоматически, только без вопросительной интонации, повторил ее слова:

— Еще кофе. Еще коньяк.

Она поставила перед ним чашечку свежего кофе. Он замороженно смотрел на струйку дымки от кофе, и ему пришла мысль, через мгновение эта струйка-дымка улетучится и никогда уже не повторится. И так же быстро течет время, и в нем человек. И это улетучивающееся мгновение уже никогда не вернуть. Быть может, в этом и заключается радость и грусть жизни.

Он перевел глаза на Вирджинию и спросил:

— Что будем делать?

— Жить,— не задумываясь, ответила она с бодрой улыбкой.

В ее глазах появились бесенята:

— Кого больше всех любите во Франции?

Станный вопрос, подумал он. Для чего это? И, поразмыслив, после паузы неуверенно проговорил:

— Не знаю. Может быть, всех одинаково...

— Всех одинаково невозможно... — сказала она.

Немного помолчали, потом она спросила:

— А что любите больше всего?

Он ответил:

— Тоже не знаю.

Опять помолчали. Потом он поднял на нее глаза и серьезно, без улыбки поинтересовался:

— А вы?..

Она решительно сказала:

— Знаю, но не скажу.

Еще немного посидели и поговорили о вещах каких-то незначительных. Потом он поднялся и сказал, что ему пора откланяться. Она тоже встала и сказала:

— Я провожу вас.

Она надела тонкое и черное, как и платье, пальто из очень мягкой и приятной на ощупь ткани. Тряхнула своими черными волосами и вышла на лестничную площадку. Он думал, что она проводит его до низа и вернется домой. Но она уверенно открыла входную дверь и вместе с ним вышла на улицу.

Они молча вышли из ажурных железных ворот и по мокрому тротуару направились в сторону отеля. Молча и совсем естественно, как будто делала это уже много раз, она взяла его под руку. И теперь не спеша, прогулочным шагом, они пошли по тускло освещенной улице.

Шли молча, вдыхая влажный, освежающий, почти осязаемый воздух позднего вечера.

Пройдя немного, наконец она заговорила о главном:

— Я прочитала вашу книгу.

Ему, видимо, надо было поинтересоваться: ну и как? Но он ничего не спросил. Она еще прошла несколько шагов молча, а потом сказала:

— Читала и плакала.

Он снова ничего не сказал. Только сжал в знак признательности ее локоть под тонким и мягким сукном рукава. Они оба знали, о чем идет речь.

Еще пройдя немного, он сказал:

— Я не хочу, чтобы вы плакали.

— Почему?

— Плачут, когда больно. Не хочу, чтобы вам было больно.

Она помолчала, потом снова заговорила:

— Но слезы приносят и облегчение...

— Да, пожалуй, верно,— согласился он.

И они надолго замолчали. Потом он сказал:

— Еще подумаем.

— Подумаем,— согласилась она.

А потом, будто свалив какую-то ношу, она стала рассказывать об общих знакомых и о литературе. С кем недавно виделась, что здесь читают, кто в моде из иностранных авторов. Словом, это та тема, о которой можно говорить бесконечно. И она беззаботно и весело щебетала всю дорогу до отеля. А поскольку нельзя было прервать нить разговора, они обошли, продолжая беседу, квартал вокруг отеля. Говорила в основном она. Как и неделю назад, когда он звонил ей из дома, из Сибири, она не могла остановиться. Он молча слушал ее. А она, будто перевоплощаясь во многих людей, то уходила в глубину многих столетий, то вновь возвращалась в сегодняшний вечер. И теперь, бродя по таинственным переулкам вечного города, ему показалось, что его повсюду сопровождает Наполеон Бонапарт. Но встречались и Александр Дюма, и Виктор Гюго, и Бальзак, и Мопассан. И многие другие. Но больше всего было, конечно же, известных женщин-француженок. Он явственно слышал тихие, про-

бывающиеся из толщины времен, голоса Жанны д'Арк, Марии Антуанетты, Коко Шанель. То звучали в его ушах строки из романов Франсуазы Саган. То ему слышались мелодии Патрисии Каас. И даже двадцатичетырехлетняя Шарлотта Корде призрачной тенью промелькнула под аркой какого-то старинного дома. Возможно, с кинжалом под плащом она спешила на расправу с вождем якобинцев Жаном Маратом.

Наверное, если бродить по ночному городу до утра, можно повстречаться со всеми известными французами, подумал он. А после как-то получилось само собой, что, миновав череду полусумрачных, бледно освещенных переулков и улиц, они очутились у ее дома.

Вошли в подъезд. В подъезде остановились на красной ковровой дорожке напротив лифта. Было тихо. Казалось, весь дом давно погрузился в сон.

Она повернулась к нему. И, глядя в глаза, продолжала рассказывать о Париже. Он молча слушал и кивал. Поддакивая, показывая, что слушает ее внимательно.

Наконец она сделала паузу, потом спросила:

— Я вас не утомила?

— Нет, конечно,— улыбнулся он.

— Но у вас был длинный день?

— У меня все дни длинные,— засмеялся он.

Она помолчала, потом сказала:

— Что, прощаемся?

— Попрощаемся.

Она сделала шаг в его сторону, вплотную приблизилась к нему — и в следующее мгновение он всем телом ощутил ее трепетные губы. От неожиданности он слегка отпрянул назад и, чтобы удержать равновесие, двумя руками схватил ее за тугой стан. Она, словно тростинка, прогнулась в талии. И он, ища более устойчивую опору, невольно повел ладони рук вниз. И руки его опустились ниже пояса и коснулись запретного. Под ладонями он почувствовал две упруго пульсирующие живые чаши. Он знал, что при случайном прикосновении к этому женщина

должна отпрянуть. Но тут она еще сильнее прильнула к нему. И он застыл, будто оледенев, никак не отвечая на ее поцелуй. Сколько времени длился ее поцелуй, он не мог сказать. Может быть, мгновение. А может быть, вечность.

Наконец она отвела голову и отступила на шаг. Молча остановила внимательные глаза на его лице, словно пытаясь заполнить им свою память. Потом медленными и округлыми движениями рук поправила выбившиеся из-под берета пряди волос. Чуть заметно улыбнулась и сказала:

— *Vonne nuit.*

Потом прошла к лифту, открыла дверцу, вошла в кабину. И когда лифт тронулся, помахала правой рукой. Тогда он сделал шаг к лифту, тоже помахал ей рукой и тихо, неожиданно хрипло зазвучавшим голосом, пожелал:

— *Доброй ночи, Вирджиния.*

Он все стоял у лифтовой шахты. Стоял, пока не услышал, как лифт остановился на ее этаже, как она вышла из лифта. Он еще немного постоял, а потом по красной ковровой дорожке вышел из подъезда. На улице, под навесом крыльца, он остановился, снял берет и расстегнул плащ. Ему стало жарко. Глубоко вдохнул влажный, приятно освежающий воздух осеннего города. И направился в отель. С нами что-то происходит, подумал он, выходя из ажурных ворот двора. Потом поправился: со мной что-то происходит...

*Ханты-Мансийск,  
8 мая 2006 года*

# **ПРОДАВЕЦ КОНДАКОВ**

*Рассказ Ивана Степановича Сопочина*



---

Дело было еще до войны. Я\* с двумя младшими братьями приехал в деревню Тромаган, привезли в рыбоучасток полный неводник рыбы. И целый летний день сдавали свой улов. В те времена вручную, на носилках рыбу поднимали на берег, в просторный бревенчатый склад-лабаз, где ее разделявали и солили в огромных бочках-чанах. Рыбу взвешивала да принимала молодая да бойкая девица Маша-приемщица.

Работа с носилками, надо сказать, не из легких. Один сачком накладывает рыбу, двое носят. Потом, время от времени, меняемся местами. Ловить рыбу легче, чем сдавать ее в приемный пункт. В полдень я отправил одного из младших братьев в магазин. Он купил хлеба и пол-литра белой. Мы перекусили и немного отдохнули. Потом снова взялись за работу. Во время перекуров не спеша выпивали по маленькой стопочке. Разумеется, угощали и развеселую Машу, которая шутками да прибаутками все подбадривала нас.

Выгрузку и сдачу рыбы закончили только вечером. Оказалось, привезли три тонны. Это очень хороший улов. Возвращаться домой, на стойбище было уже поздно. Решили переночевать в деревне, чтобы с утра уплыть на свои угодья.

За день, конечно, наломали себе бока. От тяжелых носилок ноют руки и ноги. И мы направились в магазин, чтобы к ужину взять еще одну поллитровку и выпить

---

\* Сопочин И.С.—сказитель и певец, старожил Сургутского района. Ушел из жизни в 1993 году в возрасте около ста лет.

с устатку. Маша-приемщица тоже пошла с нами. От наших дневных стопочек она немного была навеселе. Она закончила работу — в лабазе остались только рыборазделочницы и засольщики, что обрабатывали нашу рыбу.

Подходим к магазину — а он закрыт. Это был большой деревянный дом, одна половинка — магазин, другая — квартира продавца. А продавцом был мужчина из Сургута, звали его Кондаковым. Семья у него была в Сургуте, здесь он жил один. Мы постучались к нему домой, вошли. Говорим ему:

— Ну, Кондаков, открой нам, пожалуйста, магазин.

— Зачем?

— Дай нам бутылочку белой.

— Нет, — отвечает Кондаков. — Я уже закончил работу.

— Ну, Кондаков, ну будь человеком!

— Где же вы раньше были, когда магазин работал?

— Рыбу выгружали. Три тонны подняли на берег.

— Моя работа закончена.

Мотаает он головой — ни в какую.

Мы с братьями переступаем с ноги на ногу. Кто затылок почешет, кто за правым ухом, кто за левым. Все уговариваем настырного продавца:

— Ну, Кондаков, что тебе стоит шаг сделать до магазина!

— Мы за день так намаялись...

— Ни рук, ни ног не чуем.

— Никак перед сном не обойтись без рюмки.

Вредный был мужик Кондаков. Ходит перед нами по горнице, заложив руки за спину. Через наши головы бросает выразительные взгляды на Машу. Шаг-два туда, шаг-два обратно, а потом буркнет:

— Не могу. Закрыто.

Вот так переминаемся с ноги на ногу, уговариваем продавца. А Маша-приемщица за нашими спинами стояла и молча слушала увещевания Кондакова. И вдруг она раздвинула наши спины, выступила вперед, привздернула плечики, топнула ножкой и, выплыв перед Кондаковым, запела задорную песенку:

Продавец Кондаков,  
Пол-литра дай-дай-дай!  
Продавец Кондаков,  
Кунка дам-дам-дам!

Потом приостановилась, перевела дух, оглянулась на Кондакова и снова пустившись в припляс, повторяя свою песенку:

Продавец Кондаков,  
Пол-литра дай-дай-дай!  
Продавец Кондаков,  
Кунка дам-дам-дам!

После этого продавец Кондаков молча снял с гвоздя пиджак — и в двери, на улицу. Мы все за ним. Конечно, обрадовались. Он открыл склад и нырнул в него. Нам сделал знак — чтобы не входили. Через мгновение-другое он вышел оттуда. Не знаю, в брючных карманах у него что-нибудь было или нет — этого не скажу. Но запомнил одно: из двух пиджачных карманов торчали две поллитровки водки. Молча закрыл склад на амбарный замок. Молча взял Машу, нашу приемщицу, под руку и молча же повел ее в сосняк, который начинался тут же, за магазинским складом на окраине села.

Мы, кажется, все трое только вздохнули разом:  
— Ох, Кондаков, Кондаков!..

Делать нечего. Приуныли мы все. Кто за ухом почесал, кто на затылке взъерошил волосы. Потоптались возле злополучного склада и пошли ночевать к своим сородичам.

Два наших дальних родственника, два деда преклонных лет жили в деревне, бывшие охотники. Деды такие почти замшелые, но говорливые, гостеприимные. Мы любили останавливаться у них. За вечер, бывало, такого от них наслушаешься — в сказке потом не перескажешь. Пришли, чай попили. Как водится, за ужином мы все лесные новости рассказали. Кто да как живет. Какая и где ловится рыба. Какая птица прилетела да как гнездится. Какая ожидается вода. Каким ожидается урожай

на ягоды и орехи. А деды наши слушают да трубками пыхтят — все им в новинку, скучают по таежной жизни. Уж возраст не пускает на охотничью тропу да на рыбную ловлю. Между делом тоже вставляют свои слова, разные занятные истории вспоминают.

А перед сном, когда стали укладываться спать, мы рассказали про три тонны рыбы, Машу-приемщицу и про вредного продавца Кондакова. Наши деды выслушали молча всю историю, потом посмеялись над нами, сказали:

— Какие вы молодые да глупые! Надо было вам немного подождать. Как только Кондаков с молодкой устроились на полянке, выпили и закусили — вы к ним. Кондаков же один, а вас трое. Продавца за руки за ноги — и в кусты. А тут вам сразу досталась бы и выпивка, и закуска, и молодка!.. Ах, глупые!.. Ах, молодые! Такой пир упустили!

Ну, посмеялись всем домом над нашей глупостью и легли спать.

Что теперь делать — упустили так упустили.

А история эта имеет свое продолжение.

Я уже говорил, что это дело было до войны.

А тут война пришла. Моих младших братьев забрали на войну. И они оба там погибли. Продавец Кондаков, говорят, тоже не вернулся с войны. Значит, тоже погиб.

Прошло сколько-то лет после войны.

Однажды морозным днем я пригнал со своей семьей обоз с рыбой в Сургут, в коопзверопромхоз. Контора была на Черном мысу, возле пристани. Рыба в мешках была, взвесили всю, сдали. Директор говорит:

— Иван Степанович, теперь уж вечер, рабочий день заканчивается — накладные, там бумаги, все расчеты и деньги получите завтра. Переночуете на пастбище — утром приедете.

А пастбище за городом, в пяти-шести километрах. К вечеру похолодало. Я и говорю директору:

— У оленей, возле костра придется ночевать. Дай из кассы авансом пять рублей. На бутылочку, чтобы согреться вечером.

Он говорит:

— Сейчас, подождите. Кассирша куда-то вышла. Придет — скажу, выдаст пятерку для сугрева.

Вот сидим, ждем кассиршу. А в конторе народу много. Ханты, кто рыбу привез, кто пушнину. Тут и конторские, разные специалисты, на своих местах сидят — что-то пишут, что-то считают.

Сидим, ждем.

А потом кто-то говорит мне:

— Иван Степанович, ты, говорят, много песен знаешь. Может, пока кассирши нет, споешь нам что-нибудь, потешишь народ?

— Да, песен у меня немало, говорю. Что бы вам спеть?

— Про жизнь, про любовь...

Тогда я сказал:

— Может, про продавца Кондакова спеть?

— Во-во,—подхватило несколько голосов.— У нас в конторе работает Кондаков. Это наверняка его родственник.

— Все сургутские Кондаковы между собой родственники.

Тут же привели ко мне этого конторского, так средних лет, Кондакова. Вот он меня тоже просит:

— Спойте про моего дядюшку Кондакова. Это наверняка был он.

— Ладно,—согласился я.

И рассказал всю историю. И про три тонны рыбы, и про Машу-приемщицу, и про вредного продавца Кондакова. А потом, когда дошел до песни, будто увидел вдруг Машу-приемщицу, будто она подтолкнула меня в бок, я дернул плечом, притопнул ногой, вышел на круг и сама собой полилась песня:

Продавец Кондаков,  
Пол-литра дай-дай-дай!  
Продавец Кондаков,  
Кунка дам-дам-дам!

Контора грохнула от хохота. Все разом обступили меня, зашумели, загалдели.

А молодой Кондаков вытащил кошелек, вложил в руку мне деньги и сказал:

— На, не жди кассирши—это для сугрева у костра. Ты настоящий певец и актер, Иван Степанович! Молодец! Молодец!

Вот так на песне о Кондакове первый раз заработал деньги.

Потом холодной ночью на пастбище сидел в кругу семьи у костра, смотрел на огонь и вспоминал погибших младших братьев, Машу-приемщицу, вредного продавца Кондакова. Словом, вспоминал многих людей, ушедших в предвоенные и послевоенные годы нашей тяжелой жизни.

*с. Малый Яр,  
10 апреля 2002 года*

# ЭПИЛОГ

Писать о любви тяжело —  
А любить еще тяжелее...



## Содержание

<i>А.-В. Шаррен. Багатель о неслучившемся</i> .....	5
ПРОЛОГ .....	7
ОСЕНЬ В ТВОЕМ ГОРОДЕ. <i>Осенняя грусть</i> .....	9
МОЯ КНЯЖНА. <i>Осенняя грусть</i> .....	19
ГДЕ ЖЕ ТЫ, ОСЕНЬ? <i>Эссе</i> .....	31
В ПОЛЕТЕ В БЕЗДНУ. <i>Рассказ</i> .....	35
НОЧЬ МАЭСТРО. <i>Рассказ</i> .....	75
РЕКА-В-ЯНВАРЕ, или В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. <i>Рассказ</i> .....	97
В МИР ВЕЧНОГО ПОКОЯ. <i>Осенняя печаль</i> .....	123
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ. <i>Рассказ</i> .....	139
ВРЕМЯ ДОЖДЕЙ. <i>Рассказ</i> .....	149
В ОКОПАХ, или ЯВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ. <i>Рассказ фронтовика</i> .....	161
ПАРИЖАНКА. <i>Рассказ</i> .....	179
ПРОДАВЕЦ КОНДАКОВ. <i>Рассказ Ивана Степановича Сопочина</i> .....	199
ЭПИЛОГ .....	207

Литературно-художественное издание

Айпин Еремей Данилович

РЕКА-В-ЯНВАРЕ

*Сборник рассказов*

Редактор *Елена Байер*

Художественное оформление *Валерия Корнилова*

Верстка *Светланы Григорьевой*

Подписано в печать 10.10.07. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 13. Тираж 2000. Заказ 4563.

Издательство ООО «Миралл»

195112, г. Санкт-Петербург, Перевозный пер., 19

Отпечатано по технологии СтР

в ОАО «Печатный двор» им. А.М. Горького.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.





500



167442008

Государственная библиотека Югры

